

ОНОС

Дмитрий Рачков

МИНУЕТ
ПЕЧАЛЬНОЕ
ВРЕМЯ

Записки шестидесятника

МИНУЕТ ПЕЧАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Записки шестидесятника

Дмитрий Рачков

МИНУЕТ
ПЕЧАЛЬНОЕ
ВРЕМЯ

Записки шестидесятника

Москва
"Книжная палата"
1991

Рачков Д.А.

Р 12 Минует печальное время: Записки шестидесятника.
– М.: Книжная палата, 1991. 72 с.
ISBN 5-7000-0364-3

Автор пишет о событиях своей молодости, молодости сегодняшнего старшего поколения. Здесь годы учения в институте и воспоминания детства в Моршанске, встречи с интересными людьми и размышления о творчестве Маяковского и Галича, о судьбах людей в те печальные годы. В очерках присутствует дух того времени, и благодаря особому писательскому умению рассказывать, все, о чем написано – узнаваемо. Даже если у читателей – современников автора – встречи и впечатления были иными, все равно его мысли и чувства будут близки их уму и сердцу. Однако широта взглядов автора делает книгу интересной и нынешнему молодому поколению.

Р 4702010204-000 Без объявл.
008(01)-91

ББК 84Р7-4

Р 4702010204-000 Без объявл.
008(01)-91

© Д.Рачков, 1991

ISBN 5-7000-0364-3

НАШ ЧЕЛОВЕК В ТАМБОВЕ

В Москве есть такая довольно большая компания бывших студентов Московского Педагогического, что на М. Пироговке, дружная компания, почти землячество, время от времени она собирается то в мастерской замечательного прозаика и живописца Юрия Коваля, то на спектаклях выдающегося режиссера современности Петра Фоменко, то на творческих вечерах поэзии Юрия Ряшенцева. Оные знаменитости – тоже бывшие студенты, оттуда же, с Пироговки-Усачёвки.

Есть у нас и свои иностранцы. Например, Павел Асс, чей до боли знакомый голос нередко звучит на волнах Русской службы Би-Би-Си.

И есть уже у нас свой мартиролог, и открыл его, уже тому скоро 20 лет, незабвенный Гера Фельдблюм, сочинитель, педагог, виолончелист, центрфорвард, умница, насмешник и всеобщий любимец, погибший от невесты откуда взявшейся лейкемии...

И, наконец, имеются у нас и свои "провинциалы". В Вильнюсе, например, обретается наш человек Эмиль Херсонский, театральный режиссер, возглавивший там лет десять назад народный еврейский театр. Для этого в 40 лет он впервые взялся за идиш и выучил, причем настолько, что ставит произношение каунасским евреям, а лучше каунасских никто на идиш не говорит. Для своих народных артистов он перепечатывает роли собственноручно на машинке, в русской транскрипции, расставляя ударения. За 5–6 представлений вильнюсская публика истощалась, затем спектакль ехал в Каунас и Друскининкай, а далее их почему-то не пускали, и лишь в перестройку они триумфально съездили в Кишинев и, кажется, в Бобруйск. Теперь, правда, наш Миля с грустью сообщает, что "все меньше становится в Вильнюсе евреев по обе стороны рампты", ввиду той же перестройки.

Что же касается города Тамбова, то в нем тоже, как говаривал упомянутый выше Гера, – "имеет место быть находиться" наш человек. Рачков Дмитрий Александрович, завкафедрой местного Института культуры, доцент, кандидат филологических наук, шахматист и меломан, именуемый в нашей компании запросто – Димыч.

Автор этой книги.

У нас каждый что-то делает для нас, от имени нас, из-за нас. Ряшенцев пишет стихи. Коваль — повести и рассказы. Визбор пел о нас — всем. Илья Габай пошел за нас в диссиденты и погиб.

Димыч пишет наши воспоминания.

Его жизнь похожа на многие наши биографии. Военное детство в провинциальном городке Моршанске. Отец пал на фронте. Скучное существование послевоенное. Мама, врач, тянет лямку, растит их с братом, одна, замуж второй раз не пошла. В начале 50-х наш Димыч оказался в Москве, в Институте, где как раз образовывалась наша компания, и он ее нам составил. И вместе с нами прожил 56-й год и все, что потом.

И для него 68-й год также явился переломным — только, пожалуй, в более буквальном смысле, чем для многих из нас. Процветающий кандидат и доцент Южно-Сахалинского пединститута внезапно подвергся чудовищному идеологическому погрому, усилиями местной (впрочем, похоже, и столичной) госбезопасности, со всем набором традиционных мерзостей: тут и негласный обыск, и допросы, и общественные разносы, и, разумеется, увольнение и изгнание из города — всего лишь за то, что знаком с десятком московских диссидентов и берет у них читать кое-какой самиздат. Идеологический диверсант в погранзоне.

Примерно, год мыкался он по стране, пока не зацепился за Тамбов, где и бросил якорь. Но еще долго висел над ним дамоклов меч идеологических подозрений. Душное время, гнусное время...

С тех пор вот уже больше двадцати лет преподает он литературу своим очникам и заочникам, сеет, так сказать, разумное-доброе-вечное, не слишком надеясь на дружные всходы...

Зато постепенно в нем самом завелось, завязалось зерно некоторого замысла, и оно томилось и дожидалось часа и наконец проросло. Он уселся за воспоминания... за мемуары... нет, неточное слово. Записки шестидесятника — вот наиболее подходящее определение жанра. Здесь и время, и осмысление. О-о, какая книжка! Очень, очень интересно узнать, как запомнилось сверстнику и однокашнику общее прошлое. Все равно что взять и заглянуть в свои дневники, которые сам поленился вести. И смотрите-ка: я никогда в жизни не бывал в Моршанске, я не был на диспуте по поводу романа Дудинцева — но вот читаю и все узнаю, как свое, лично пережитое. Может быть, потому, что жил в Малоярославце? и потому, что участвовал в обсуждении выставки Пикассо? Ну, конечно: общее время, сходство вкусов и пристрастий, образа мысли — и жизни. Но — и конечно же — умение рассказывать. Особенное умение, писательское. Причем, бывает, открывается в человеке уже на возраст, как в данном случае. И тогда могут появиться великие книги. Трилогия Н.Я. Мандельштам, например. Или шаламовские "Колымские рассказы".

Наш Димыч повествует о 60-х годах, о нашей молодости. Я думаю о его читательской аудитории. Ну, во-первых, это наша компания, о которой я упомянул еще в начале. Плюс обширный круг знакомых, не имевших такого

счастья — учиться в нами в Педагогическом на Пироговке, и получавших образование приблизительно в то же время в каком-нибудь МГУ или Медицинском. Взять хотя бы знакомых Марка Розовского — он друг и соратник нашего человека Юрия Ряшенцева. Плюсуюем — и наша компания как минимум удваивается. А прибавить друзей, соратников и учеников другого нашего человека — поэта, педагога и искусствоведа Юрия Айхенвальда. Это уже пол-Москвы и четверть Ленинграда. А круги и сферы Юрия Визбора или Макса Кусургашева (радиостанция "Юность") — да что говорить! Много, много читателей у димычевой книги, целое поколение — шестидесятники. Чье сердце не откликнется на рассказ о встрече с песней Галича; на историю взаимоотношений с поэзией Маяковского; на множество картинок нашей тогдашней жизни и ясных впечатлений общей молодости! И даже если у кого-то из нас эти встречи и впечатления были иными — все равно они вняты уму и сердцу и ярко воскрешают лучшие дни.

Шестидесятники — ведь это понятие историческое. Это же пограничное поколение между вековой неволей и свободой. Именно им (то есть нам!) выпала великая участь: опомниться и понять. И сделать первое усилие отказа от несвободы. Сколь же интересен и замечателен должен быть душевный портрет героев этого времени. И я рад и горд, что друг наш Дмитрий Рачков — один из первых, кто начал его. Бог помочь, дорогой Димыч, обязательно продолжай дальше!

Юлий Ким

”МИНУЕТ ПЕЧАЛЬНОЕ ВРЕМЯ...”

Недавно я перечитал роман В.Дудинцева ”Не хлебом единым”¹. И вновь поразился этой книге.

Приходилось много читать и слышать, что, мол, конечно, все это дерзко и смело, проблемно и остро, но, согласитесь, – будем откровенны и объективны, – роман-то ведь слаб, композиция хромает, образы в большинстве своем – ”рупоры идей” и т. д. и т. п.

Все это говорилось и тогда, в 1956 году, когда роман стал главным событием, и когда вся литература наша (в этом нет никакого преувеличения) на время как бы забылась.

Отчетливо помню, как мы, студенты московского педвуза, читали этот роман, рвали из рук ”Новый мир”, где он печатался, жадно обсуждали каждый эпизод и говорили, говорили не могли наговориться. В нашей стенгазете появилась статья, где через запятую было написано: ”ежовщина”, ”дроздовщина”, и мы уже примеривали некоторых, особенно нелюбимых преподавателей, то на Дроздова, то на Шитикова, то на Вадика Невраева. И удивительное дело, нам, тогда немного ”эстетам” или самоуверенно считавшими себя таковыми, и в голову не приходило подвергнуть роман ”эстетической критике”, оценивать композицию, язык и сюжет, об этом и не думалось. А ведь мы только что открыли для себя Шкловского, Эйхенбаума, Тынянова и бредили ими. На время забылись и все наши институтские увлечения, даже утонченный курс зарубежной литературы Средних веков и Возрождения профессора Б.И.Пуришева. Впрочем, Борис Иванович, высший для нас авторитет в институте, сам обсуждал

¹ Очерк написан в 1983 году.

Дудинцева с нами, говорили, правда, в основном, мы... "Очень сильно!" – только и сказал он, но глаза его сверкали...

Ныне роман Дудинцева вспоминают нечасто, а для нынешних молодых людей, детей наших, он уж и вовсе абстракция. После известной оценки романа Н.С.Хрущевым прокатилась волна разгромных статей, а потом все стихло: дескать, было бы о чем говорить... В начале 1957 года в нашем институте, МГПИ им. В.И.Ленина, выступал лектор из ЦК. Естественно, ему послали записку о Дудинцеве. Он развел руками: "Ну, товарищи, было бы о чем говорить..."

И от романа постепенно отвыкли, такое не раз бывало в литературе нашей. Поэтому когда он тихо, незаметно вышел, наконец, отдельным изданием в 1968 году, на это и внимания то никто особого не обратил, какое же это событие? А ведь прошло всего двенадцать лет. Это вообще очень действенный прием. Книга вроде бы и издана, а интерес к ней упал и читается она уже совсем по-другому, и времена изменились. В одной статье промелькнуло даже, что проблемы, поднятые Дудинцевым, сняты самой жизнью. К этому мы еще вернемся.

И вот роман прочитан снова. Конечно, теперь он читается спокойнее. Но не потому вовсе, что проблематика его снята самой жизнью. Если бы... Я специально порылся в газетах за последние годы, чтобы узнать, что пишут о современных изобретателях. Оказывается, немало. Наверно, что-то изменилось в их судьбах, судьбах их изобретений, не берусь судить. Но изменилось ли главное? Все, о ком доводилось читать, по-прежнему, как и тогда, не на жизнь, а на смерть бьются со своими министерствами, коллегиями, НИИ, от которых зависит изготовление опытного образца, ассигнования, внедрение и прочее. Борьба эта, явно неравная, отнимает годы, иногда десятилетия жизни. И вот еще что поразительно, это уж совсем по Дудинцеву: и ныне у министерства или НИИ, как правило, тут же появляется или уже есть "своя" машина. Обычно она хуже, дороже, но "своя" и доводятся именно ее. И мается изобретатель точь-в-точь, как Дмитрий Алексеевич Лопаткин.

Я взял наугад несколько примеров из центральных газет.

" – Что же вы такую старую технику демонстрируете? – Посетитель международной выставки в Сокольниках указал на громадный станок для изготовления пружинных шайб. Неожиданный вопрос несколько озадачил представителя фирмы "Бенет", но вскоре он нашелся и снисходительно ответил: "А у вас и такого нет".

– Хотите взглянуть?

”Фирмач” удивленно уставился на странного посетителя, который стал открывать чемоданчик-”дипломат”.

Внутри оказался миниатюрный механизм.

– Засекайте время, – сказал он и включил моторчик. С невероятной скоростью в поддон посыпались шайбы. За минуту была сделана дневная программа стоящего рядом громадного экспоната.

Вот какой чудо-станок сделал Михаил Иванович Логин. Сделал. Но вот уже тридцать лет прошло, а изобретение не внедрено”.¹

Позвольте, что же получается? Тридцать лет, это 1952-й, ну, на крайний случай, 1953-й год. Так ведь и Лопаткин в это время толкался в министерских коридорах, просиживал целые дни в приемных, развешивал свои ватманы перед очередной комиссией... Они ж и встретиться могли, наверняка даже встречались! Носили они тогда с собой фибровые чемоданчики или обычные школьные портфели, набитые внатолк отказами, отношениями, заключениями. Да они и сейчас поди встречаются. Если, конечно, жив Дмитрий Алексеевич Лопаткин... А если жив еще, то наверняка придумал что-нибудь новое, такой уж человек. Так и видишь, как сидят они рядышком в приемной министерства, беседуют вполголоса, улыбаются друг другу устало, мудро... И вынимают, но теперь уже из ”дипломатов” опять те же отношения, просьбы, отказы, заключения комиссий и т.п.

И еще из этой статьи:

”Логин создал комбайн, который вначале срезает колос, а затем убирает солому-стерню. Модели уже работают. Он приехал во Всесоюзный научно-исследовательский институт сельскохозяйственного машиностроения. ”Берите! – говорит. – Или дайте материала и станки – я своими руками сделаю”.

А ему ответили: ”Вы не специалист сельского хозяйства. Что же вы беретесь не за свое дело? У нас есть кому об этом подумать”.

А здесь уж и вовсе все знакомо, вплоть до интонации. Ну конечно же, это Лопаткину говорили: вы не специалист, а школьный учитель, куда вы лезете? Это ж академик Авдиев Василий Захарович собственной персоной, тот самый, что машину Лопаткина угробил, а ”свою”, никуда не годную, пустил в серию...

Вот еще одна судьба.

Письмо в редакцию:

”Мне 74 года. Тридцать лет я борюсь за осуществле-

¹ ”Комсомольская правда” 22 июня 1982 г.

ние одной важной технической идеи, но мало кого убедил. Тогда я ушел на пенсию, чтобы самому ее воплотить, сделал заявку на изобретение водогрейного транспортабельного котла для квартальных котельных, но по-прежнему в научно-исследовательских и проектных институтах делу мешают. Двадцать лет не дают ходу моему изобретению, и только производственники, люди практического действия, поддерживают его¹.

В.Ломакин.

И опять эти тридцать лет, половина жизни... Почти во всех публикациях, просмотренных мною, прямо-таки кричат эти двадцать пять, тридцать, а то и тридцать пять лет. А сколько их сошло с дистанции, тех, кто отчаялся, не выдержал, "по состоянию здоровья", наконец!

Комментируя письмо В.Ломакина, корреспондент तो-ропится обрадовать читателей:

"С удовольствием информирую... – "котел водогрейный транспортабельного типа ТГ" существует теперь во многих экземплярах, и все экземпляры работают превосходно".

Горько от такой победы. Да и жив он ныне, этот пенсионер Ломакин? Так и хочется написать: Лопаткин...

Проблематика книги – даже если взять только эту узкую сторону – судьба изобретателя и изобретательства – как видим, не устарела. Но ведь роман не только об этом.

Перечитывая книгу, я вдруг вспомнил, что был на ее обсуждении. Да, да, на том самом знаменитом обсуждении в Центральном доме литераторов и где-то у меня должен быть номер "Московского литератора" с отчетом об этом обсуждении. Как же я был счастлив, когда к вечеру, перерывши все папки, нашел-таки этот номер, похожий на многотиражку, пожелтевший, надорванный по сгибам, ему ведь, как-никак, 27 лет! Там на третьей странице подвал – "Обсуждение романа В.Дудинцева "Не хлебом единым". Изучил буквально каждую строчку, прочитал всю газету от передовой до объявлений, а потом чтение как-то смешалось, соединилось с дудинцевским романом, и я вспомнил...

В тот день, 22 октября 1956 года, мы на всякий случай сбежали с последней лекции, чтобы быть у ЦДЛ часа за полтора. Дом литераторов тогда еще помещался в старом здании.

Подожли – и растерялись, видно, не одним нам пришло это в голову – приехать загодя. Вся улица забита народом, кажется, даже движение перекрывали. Я присмотрелся к толпе: она была какая-то необычная, возбужденная, и писатели в ней почти не различались.

¹"Литературная газета" 10 июня 1974 г.

На четверых у нас был всего один пригласительный билет. На что мы рассчитывали, понять сейчас трудно. Впрочем, нет, не на четверых – на троих. Т. не в счет, уж он-то пройдет обязательно. Он вообще был мастер "проходить", этот Т. Незадолго до этого в Библиотеке – музее им. В.В.Маяковского показывали впервые фильмы с участием поэта. Народу, естественно, тьма, в маленьком зальчике библиотеки стояли локоть к локтю, стояли даже на закрытом рояле! Н.Реформатская, директор музея, прибежала в ужасе, пыталась согнать, и это вызвало реплику под всеобщий хохот: "Не оттопчите ножку моей рояли!" Она только рукой махнула. Мы, помнится, получили билеты в институтском комитете комсомола, а Т. почему-то не досталось. Смотрим, а он уже здесь, в зале, раньше нас пришел. Нет ничего проще, говорит, уметь надо. Оказывается, – ни более, ни менее – сам написал записку от Пастернака и здорово написал, похоже, пропустили без звука!

Вот и сейчас, пока мы мучительно думали, что делать, рефлексировали, он был уже в фойе, рукой нам помахивал. Пристроился к какой-то писательской группе ("билеты дальше!") и прошел совершенно спокойно. Тут главное – сохранить полную невозмутимость, а он это умел. Нас бы моментально завернули. М. по своему пригласительному уже тоже прошел, поди, и места нам занял, а мы с В. почти уж и не надеялись.

Между тем, народ все прибывал, и у входа в ЦДЛ образовалось нечто вроде давки. Что делать? И тогда мы решили попробовать старый способ. Детство вспомнили, что ли? Как "прорывались на кино" без билетов. И представьте, удалось! Мы пристроились к каким-то рослым парням, кажется, студентам МГУ последнего курса, и действительно "прорывались"! Помню, на контроле стояли две чистенькие благообразные старушки и было неудобно перед ними... За нами гнались, но мы быстро пробежали по деревянной лестнице наверх, на балкон. В этом старом здании такие удивительные лестницы, спасибо им! И ведь не нашлось ни одного "доброхота", кто бы устыдил, остановил. Напротив, мы бежали, провожаемые явно сочувственными писательскими взглядами.

Вспоминаю все это сейчас и не верится даже. Ну, хорошо, а милиция-то где ж была, а дружинники, не было их, что ли? Никак не укладывается в голове. Вроде помню двух милиционеров, одного у входа, другого в фойе: были это безусые сержантики, похоже, они стеснялись – писатели все-таки, а порядок наводить надо... И им было страшно интересно: ведь живые писатели-то, не в кино...

И все-таки я никак не могу полностью довериться своей

памяти, мешает что-то. А может быть, просто подводит она меня, ведь столько лет прошло! И захотелось поговорить с нею всерьез, со своей памятью – тем студентом третьего курса из 1956 года, и получился такой диалог:

Автор. Знаешь, я все-таки думаю, этого не могло быть. Сочиняешь, наверное... Событие же, народу тьма, а ни милиции, ни дружинников. Как это понимать?

Память (в дальнейшем именуется "Студентом"). Ну, насчет дружинников, положим, ты сам призабыл. Они чуть позднее появились. И их тогда называли бригадмилльцами.

Автор. А ведь действительно... Ну, хорошо, а милиция-то, милиция где ж была?

Студент (задумчиво). Вот то-то и оно... Милиции, можно сказать, что и не было. Стояли какие-то два сержантика, все на писателей глазели.

Автор (скептически, ворчливо). Два сержантика... Не верю – и всё. Это у тебя аберрация.

Студент (очень непосредственно). А вот и не вру. Честное слово. Почитай газету. Только очень внимательно.

Автор (продолжая ворчать, вынимает из папки тот самый номер "Московского литератора"). Ну, что там может быть еще?

Студент. Ты все-таки поищи, поищи:...

Автор (все еще недоверчиво). Ну, раз ты говоришь... (На некоторое время отключается, сосредоточенно читает. И вдруг – вскакивает со стула, крайне взволнован.) Смотри... Нет, ты смотри, что я нашел!

Студент (хитро). Эпиграмма?

Автор. Эпиграмма, и какая! (Читает вслух эпиграмму А.Раскина "На обсуждении романа В.Дудинцева "Не хлебом единым".)

Не удержать трем милиционерам
Толпу, что рвется, клуб наш окружив...
Да, видно, не единым "Кавалером"
Читатель жив.

Студент. То-то же...

.....

Зал гудел. Все-таки неистребима на Руси вера в то, что за словом последует дело, а роман Дудинцева был словом, да еще каким! Все верили – ах, как хотелось верить, – что это не просто обсуждение, поговорили и разошлись. Верилось, что оно закрепит, утвердит прозвучавшее на XX съезде и уж как минимум распахнет наши журналы для литературы острой и смелой.

Зал гудел, и в этом гуле отчетливо выделялось одно

слово: "дроздовщина". Оно летало, порхало от группы к группе и чувствовалось, что не Лопаткин даже, а Дроздов и дроздовщина – вот оно, главное. И в романе, и во всем происходящем в зале.

Всеволод Иванов, старейшина литературы нашей, открывая собрание, ностальгически напомнил времена, когда Политехнический музей бывал свидетелем такого же скопления читателей. Его слушали уважительно, но и с оттенком нетерпения: не для воспоминаний же пришли...

Но вот на трибуне первый оратор и сразу же, с места в карьер – о Дроздове. Цитирую по "Московскому литератору".

Л.Славин.

"Двигателем его поведения является не примитивное приобретательство, хотя он и здесь далеко не безгрешен, и хватательный орган у него натренирован крепко. Но главное в нем – это честолюбие карьериста, жажда власти. Есть в романе поразительное место: Дроздов в интимной беседе с женой оправдывает негодяев, которые нагло украли у Лопаткина его изобретение. Дроздов говорит: "Открыть, придумать, это еще десятая часть дела... Идея, если она правильная... ищет своего сильного человека, который обеспечит ей свое процветание".

Эта циничная апология "сильной личности", которой все дозволено. Такой Дроздов без сомнения способен на все. Фактически он стоит во главе той шайки, которая много лет томила Лопаткина, которая ввергла его в нищету, обокрала, оклеветала в ложном доносе и бросила в тюрьму".

Лев Славин первым взял эту пронзительно высокую ноту, и потом уже с нее почти не сбивались.

В. Тендряков.

"Книга Дудинцева вызывает у читателя ненависть и непримиримость к подлости, – самое ценное и дорогое качество романа. Ни в одном произведении так открыто и так сильно не было сказано о людях, поднимающих подлость в нашей жизни, они не были так откровенно названы врагами, как назвал их Дудинцев".

В.Овечкин.

"С каким чувством Дудинцев писал свой роман? С чувством горячего желания помочь в жизни, с чувством большой любви к Советской родине, с чувством великого и активного гнева против Шутиковых и Дроздовых. Он зовет читателей на борьбу с подлецами и карьеристами. Он уверен в победе. Донес ли автор свои хорошие чувства до читателя? Донес. Значит, роман правильный, советский, партийный.

При всем том, что в нем речь идет о вещах весьма серьезных, что в нем сплошь и рядом тяжелая, горькая правда,

никакого не вижу в романе противопоставления народа, простых людей руководителям. Кто спешит с такими обобщениями, тот просто многого не понимает”.

А.Авдеенко.

”Дудинцев вскрыл суть этих Дроздовых, показал всю их подноготную, мобилизовал мою ненависть к ним, мою любовь к настоящим советским людям”.

Конечно же, и изобретатели пробились на обсуждение, помню в партере такую шумную группу. Это, наверное, они и были и кому-то из них дали выступить. К трибуне вышел немолодой уже человек, заговорил четко, собранно, с достоинством. Это и был тов. Масленников”, о котором ”Московский литератор” пишет так:

”Тов. В.Масленников говорит, что выступает по поручению большой, в несколько сот, группы изобретателей, благодарных Дудинцеву за написанный им роман. Он расходится с Л.Славиным в оценке образа профессора Бусько, который тому показался анекдотичным, и говорит, что мог бы назвать десятки фамилий безвременно погибших изобретателей – погибших в одиночестве, не найдя пути к коллективу.

Тов. Масленников говорит о необходимости в какой-то форме возродить ликвидированное в середине тридцатых годов Всесоюзное общество изобретателей, рассказывает о некоторых попытках, предпринятых в этом направлении, и о сопротивлении разнофамильных Шутиковых”.

Помню, говорил он очень долго. Оно и понятно, хотелось сказать все. Впервые за многие годы изобретателю дали трибуну и какую трибуну!

Все, конечно, ждали, что скажет Дудинцев. Да и вообще хотели на него посмотреть, еще вчера никому не известного, а ныне знаменитого. Было в нем, недавнем фронтовике, что-то очень основательное, достойное и слава совсем не тронула его. Он говорил о солидарности с другими авторами, о тех, кто поддерживал, верил, помогал, о себе – совсем немного.

В.Дудинцев.

”Я шел за танками, которые усиленно палили в противника, а потом раздвинулись и дали мне ход. И после того, как я израсходовал свой боекомплект, я уверен, что те же танки двинутся вперед и скажут более острое слово в литературе”.

Но ни Тендряков, ни Овечкин, ни изобретатель, ни даже сам Дудинцев не запомнился так, как Паустовский. Его выступления особенно ждали. Интересно было, что же этот Мастер, а в нашем тогдашнем сознании он несомненно был Мастером, что же этот пейзажист, певец Мещеры, что он о Дудинцеве скажет?

А этот "пейзажист" произнес самую яркую, злую и, наверно, самую убедительную речь. Говорил он спокойно и тихо, голос звучал немного сипловато, у него было что-то с горлом. В зале сразу повисла взвинченная, нервная тишина. И это жутковато контрастировало с тем, что он говорил. Слово опять "Московскому литератору".

К.Г.Паустовский.

"Дудинцев выразил ту огромную тревогу, которая живет в каждом из нас, тревогу за моральный облик, за чистоту советского человека, за его культуру. Книга Дудинцева – беспощадная правда, правда, которая единственно нужна народу на его трудном пути укрепления нашего общества, нашего социалистического строя. Говорят, Дроздовы уже не так страшны, что это уже вчерашний день. Книга Дудинцева – серьезное предупреждение об реальной существующей опасности, о том, что в нашей стране существует порода обывателей, хищников и собственников, не имеющих ничего общего ни с революцией, ни с нашим строем, ни с социализмом.

Откуда они появились, Дроздовы? Это наследие культа личности. Они выросли на нем, как на опаре. Обстановка культа личности приучила их не считаться с народом. Они живучие и дожили до наших дней. Они воспитывались на потворстве, их оружие – предательство, ложь, клевета, моральное убийство и прямое убийство. И не было бы Дроздовых, то сейчас с нами, в нашей среде жили и работали такие люди, как Мейерхольд, Бабель, Артем Веселый и многие другие. Их уничтожили Дроздовы во имя собственного вонючего благополучия.

Мы знаем, что Коммунистическая партия, народ, создающий свое достоинство, сбросит, конечно, Дроздовых со своего пути. Задача нашей литературы – бой с Дроздовыми довести до конца".

Я аккуратно сложил старую газету, откинулся в кресле. Да, воистину непредсказуем писатель русский...

.....

И тут я опять увидел своего Студента, влезавшего в окно.

Студент (*спрыгивает на пол, весело*). Ты меня в дверь гонишь, а я в окно. Не надоел я тебе еще?

Автор. Нет, почему же. Я рад тебе. Окно только закрой, свежо.

Студент *закрывает окно*.

Студент. Понимаешь, почему я пришел... Ты вот все газету цитируешь. Я тебя понимаю, конечно... но не слишком ли ты ей доверяешь? Как говорится, доверяй, но проверяй.

Автор. А что такое?

Студент. Да так, ничего особенного... Все так и было, и мертвая тишина, и голос с хрипотцой, и вся речь приведена почти дословно. Почти. Нет только одного маленького ку-сочка, три-четыре фразы всего.

Автор (оживляясь). Да, да, а ведь правда, что-то еще он говорил. Только никак не вспомню.

Студент. "Победа"?

Автор. "Победа"? Это тогда круиз такой на теплоходе вокруг Европы открыли. Постой, постой, правда, что-то связанное с этой "Победой". И очень важное. Ну, никак не могу вспомнить. Помоги, если можешь.

Студент. Тогда слушай. Он еще говорил, что сам на этой "Победе" недавно плавал. Выйдешь, говорит, на палубу – Дроздовы прогуливаются, в ресторан спустишься – Дроздовы жрут и пьют, в каюту – они же, и несть им числа. И только после этого – обрати внимание – после этого он и сказал, что на их совести Бабель и Мейерхольд.

Автор. Да... Это же все меняет! Он их из истории в современность, в наши дни вытащил, за ушко да на солнышко. Не исключено ведь, что часть этих людей в зале сидела, а если не в зале, то в Москве, в других городах, это он в них метил, и все поняли...

Оба долго молчат.

Студент. Ну, я пойду?

Автор. Погоди. Давай дочитаем все-то, немного осталось. Кто еще выступал?

Студент. Да, по-моему, все. Еще Симонов выступил в заключение.

Автор (разворачивая газету). Все?

Студент. Нет, нет... не все! Прочти-ка еще письмо студентов и аспирантов.

Автор (читает). "После выступления К.Симонова, Всеволод Иванов зачитал письмо группы студентов и аспирантов Литературного института им. А.М.Горького, выразивших пожелание, чтобы "Литературная газета" опубликовала полный отчет об этом обсуждении".

Студент. Это все?

Автор. Конечно. Посмотрим сам. (Протягивает ему газету.)

Студент. Ай да "Московский литератор"!.. Ты, может быть, помнишь, что мы тогда рядом с Александром Петровичем Мацкиным сидели?

Автор. Как же... Известный критик и театровед.

Студент. Так вот, не успел еще Иванов письмо дочитать,

как тот вскочил и на весь зал крикнул: "Предлагаю проголосовать!" Все обернулись даже.

Автор. Да, да, да... Теперь вспомнил! И голос у него еще был какой-то очень звонкий. А помнишь, как на секунду замаялся Всеволод Иванов? Это ведь он тогда был редактором "Литературки".

Студент. Ну да. А что делать? Пришлось ставить на голосование, и все, конечно, проголосовали "за".

Автор. Да... Сколько же мы с тобой всего вспомнили... Теперь все?

Студент (уверенно). Теперь все.

Автор (немного лукаво, как недавно Студент). А ты все-таки почитай, почитай, может, еще чего найдешь.

Студент (несколько неохотно). Ну, раз ты настаиваешь. (Погружается в чтение, слышно, как вполголоса произносит заголовки: "Разговор об очерке", "День поэзии в Ленинграде", "На партийных собраниях секций" и т.д. Видно, скоро это ему надоедает, и он начинает дурачиться – читает вслух все подряд, все, что напечатано в газете. – "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!", состав редакционной коллегии и прочее.)

Автор (мягко). Ну, не надо, не шали. Прочти-ка еще раз "Хронику".

Студент (читает). "Драматург Алешин С.И. переведен из кандидатов в члены СП" "Созданы комиссии по литературному наследию Б.Губера и А.Аросева". Тут все понятно, это реабилитированные. Значит, их скоро будут издавать.

Автор (чуть слышно). Рукописи не горят.

Студент. Что?

Автор. Это я так... про себя. Читай дальше.

Студент. Все.

Автор. Почитай все-таки еще.

Студент. Теперь уже действительно все. Тут еще про какого-то Ильина. Ильин, Ильин... Я что-то писателя такого не помню. "Как человек стал великаном", это не его?

И вдруг Студент замечает, что Автор как бы застыл, а лицо его приобрело какой-то землистый оттенок.

Студент. Что с тобой?

Автор (после долгой паузы, медленно). Ильин, Ильин. Нет, это не тот Ильин и "Как человек стал великаном" не его. Да и не писатель он вовсе, из войск... этих самых. Интересно, в каком это он чине был в пятьдесят шестом? Генерал? В пятьдесят шестом году – обрати внимание! – ответственным секретарем московских писателей стал генерал Госбезопасности. Да... А рядом сообщение о реабилитации писателей. Это знаешь, как тема судьбы в бетховенской симфонии... Ты иди, пожалуй. Мне надо побыть одному.

Студент уходит.

.....
... Мы шли по улице Герцена, оглушенные, обалдевшие от радости, от надежд. И откуда нам было знать, что уже во время обсуждения какой-нибудь Вадик Невраев, референт, начнет строчить свои отчеты во все инстанции. Откуда нам было знать все это?

Нам хотелось петь, но мы не знали что. "Бардов" тогда, можно сказать, еще и не было.

И вдруг – никогда я этого не забуду – где-то распахнулось окно, и могучий шалыпинский бас заполнил всю улицу.

Минует печальное время...

Мы снова обнимем друг друга...

И как удивительно совпало! И мы запели, мы обнялись...

Мы снова обнимем друг друга...

И уж конечно ни в каком самом кошмарном сне не могло тогда привидеться, что Т., вот он здесь, рядом, я беру его за руку, дай-ка я тебе шарф поправлю, ведь простудился, черт горластый!.. Что не будет нашего Т., руки на себя наложит в другой стране, от тоски, одиночества. Нет, не могу больше!

И тут в последний раз появляется Студент.

Студент. Извини, милый, я и не уходил вовсе. За дверью простоял. Вижу, на тебе лица нет. Тебе плохо? *(Бросается к окну, распахивает его).*

Автор и Студент, обнявшись, подходят к окну и тихо поют. Голоса их постепенно сливаются в один голос и он тонет в тишине осенней ночи:

Минует печальное время...

Мы снова обнимем друг друга...

1983 г.

МОГИЛА ЧАРЕНЦА

Памяти А.Б-ва

"ГОВОРИТ МОСКВА"

Когда не было еще телевизоров, даже миниатюрных КВНов, а новые фильмы появлялись раз в полгода, когда не было ни магнитофонов, ни проигрывателей (их заменяли патефоны), в школьные годы я как-то незаметно приучился, втянулся слушать радио. Нет, нет, не "голоса", конечно. Их

широко стали слушать, кажется, только после 56-го года, а мы, школьники провинциального городка в Тамбовской области о них даже и не знали. Слушали мы первую программу. "Маяка" тогда тоже не было.

Сначала – детские передачи, радиопостановки. Сколько их было! Как забыть таинственный, необыкновенно нежный голос Марии Ивановны Бабановой в "Звездном мальчике"! А "Хижина дяди Тома", "Том Сойер", "Человек-невидимка"! О, "Человек-невидимка"! И сейчас испытываю сладкое чувство ужаса, вспоминая эту передачу. Я не спал тогда несколько ночей, боялся выходить вечером в сад, ночью все ждал стука в дверь и представлялось: открываю, а там – никого...

Радио приучило и к серьезной музыке. Тогда чаще, чем теперь, звучали симфонии, оперы. Козловский, Лемешев, Рейзен, Обухова, Александрович; как-то невольно и я стал подпевать исполняемым ариям и даже "прорезался" маленький голос. Потом, в студенческие годы, проклиная застенчивость, которую всосал, кажется, с молоком матери, осмелился даже выступить с неаполитанской песней на курсовом вечере и имел "бешеный" успех, но увы, не у нее... Она на мое несчастье, окончила музыкальную школу. С тех пор пою только "для себя", но музыкальная эрудиция осталась, и я не раз пользовался ею. Не так давно, например, принимал я экзамен по русской литературе у одного заочника, известного ныне тенора, солиста Большого театра. Век оперного певца недолог, и он спешил получить диплом института культуры, чтобы в будущем занять какую-нибудь номенклатурную должность в Министерстве, такой вот предусмотрительный "tenore di grazia"... В Большом он и до сих пор поет Германа, и я ему, конечно, дал "Пиковую даму". Но Пушкина, увы, он знал только по Модесту Чайковскому, автору либретто, и я тут же перевел разговор на оперное пение. И, смешно сказать, посадил его в галюшу: знаменитый певец и слыхом не слыхивал ни о Печковском, ни об Артуре Фринберге – эпохальных Германах 40–50-х годов. А все потому, что радио не привык слушать, другое поколение.

Да, классика звучала тогда часто ("Вальс-фантазию" Глинка передавали иногда по несколько раз в день). Куда больше, чем сейчас¹. Теперь-то понятно, откуда взялось это

¹Ныне "Литературная газета" публикует даже, правда, "в порядке обсуждения", высказывания некоего поклонника эстрады и джаза, сводящиеся к чеканной формуле: "Кому он нужен, Ленский". Невольно вспоминаешь название фильма Сергея Образцова о бездомных животных – "Кому он нужен, этот Васька?"

предпочтительное внимание к ней. Тогдашние руководители любили ее, конечно, не больше, чем нынешние¹. Просто шли к концу 40-е, время, когда о Шостаковиче, Прокофьеве, Хачатуряне черным по белому писалось: "антинародное, антидемократическое направление в нашей музыке". Ну и, естественно, что им, "формалистам" в назидание широко пропагандировались "ясные" и "понятные" классики. А как следствие – "выпрямление саксофонов". А вся эстрада, джаз, даже Утесов с Шульженко были с позором изгнаны из радио-программ.

Позарез нужен был свой, "химически чистый" советский классик, который писал бы музыку строго по Глинке и Калининскому. И он тут же нашелся. Знаете, кто им был в те времена, о ком писали и говорили, как о ведущем советском композиторе? Это Николай Будашкин, лауреат Сталинских премий. Не напрягайте память, загляните в музыкальную энциклопедию. Его "Русская рапсодия", "Концерт для домры с оркестром" исполнялись в одной программе с симфониями Бородина и Чайковского и комментировались в том духе, что это и есть настоящая серьезная музыка, и именно такая музыка нужна трудящимся. И это при живых-то Шостаковиче и Прокофьеве!

Кстати, сам Будашкин – неплохой композитор-народник, то есть сочинитель музыки для оркестра народных инструментов, во всем этом, пожалуй, и не виноват. Он жив и поныне, заведует кафедрой народных инструментов в Московском институте культуры, возможно, нашел себя в преподавании, ибо композитора Будашкина давным-давно не слышно. Просто, тогда из него сделали "знамя". Интересно было бы знать, что он сейчас думает о своей славе в те годы?

Что ж удивительного... У Будашкина был хоть талант, а вот Семен Бабаевский... А ведь тоже был классиком (по его творениям защищено более двадцати диссертаций!)

Впрочем, все это к слову. Так или иначе – спасибо тебе, радио тех лет, за музыкальную классику.

Спасибо и за литературную. Ведь кроме обязательных

¹ В какие только гротескные формы не выливается иногда нынешняя ностальгия по "добрым, старым временам"! Один преподаватель музыки в нашем институте свои рассуждения на популярную тему о "порядке" закончил так: "Тогда и в музыке порядок был (ему не нравятся все эти "роки", "диско" и вообще современная молодежь. – Д.Р.), – Тогда и сам Жданов играл на рояле и, говорят, хорошо играл". И, помолчав, добавил: "Не то, что нынешние..."

Сталинских лауреатов звучали и Пушкин, и Тургенев, Некрасов и Толстой, да еще в каком исполнении: Качалов и Яхонтов, Астангов и Журавлев, Орлов и Шварц! А радиоспектакли? Мхатовский Чехов и Островский Малого – все это сначала было прослушено, а потом уже прочитано.

Прошло много лет, а привычка слушать радио, первую программу, осталась. Когда есть возможность, всегда слушаю и музыкальные, и литературные передачи, есть даже любимые. Например, альманах "Поэзия" в 9.15 утра.

"КУДРЯВЫЙ МАЛЬЧИК", ИЛИ МОГИЛА ЧАРЕНЦА

Вот так и включаю однажды радио в надежде послушать этот альманах. Но тут позвонили с работы, и я поспел лишь к самому концу передачи. Слышу строчки неизвестного мне стихотворения и они сразу же врезаются в память:

Здесь покоится прах

"Егише, — он читает, — Чаренца".

Передача закончилась, и я узнал только, что в ней звучали стихи армянского поэта Егише Чаренца, поэта, к стыду моему, мне едва знакомого. Правда, сразу же вспомнилось, что в 56-м это имя звучало громко вместе с Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе.

Но что-то странное было в этих строчках, странное и неестественное, что ли... Весь день они не давали покоя, и только, когда я укладывался спать, вдруг пронзило: попольте, а ведь это же надпись на памятнике, обелиске, на могиле Чаренца?! Но какая же у него, погибшего в 37-м, может быть могила? Где могилы Бабеля, Мейерхольда, Артема Веселого?

Но тогда, может быть, просто подвела память и я не точно запомнил эти строчки? Да нет, их не забудешь, и я вновь и вновь повторяю:

Здесь покоится прах

"Егише, — он читает, — Чаренца"¹.

Да, но если их действительно можно воспринять, как надпись на надгробье, то какое же это кощунство, читать стихи о могиле поэта, когда никакой могилы у него нет и быть не могло! Может быть, стихотворение как-то прокомментировали, не дожидаясь, мол, поэт до своей могилы... Но нет; у знакомого, тоже любителя поэзии, который прослушал эту

¹Потом я нашел это стихотворение, оно называется "Кудрявый мальчик", хотя в передаче, мне кажется, его называли "Могила Чаренца". Может быть, у него несколько названий? Но об этом стихотворении позже.

передачу с начала до конца, узнаю, что не было такого комментария. Да и быть, конечно, не могло.

Чтобы развеять последние сомнения (а вдруг – подвела-таки память и не в 37-м году он умер, а раньше или позже, может, даже и своей смертью – тогда бы эти строчки „стали на место“), я отправился в библиотеку, погрузился в энциклопедию и обнаружил немало любопытного для себя. Работа эта сильно увлекла меня.

Итак, БСЭ, т. 47, 2-е издание. М., 1957. Я специально начал с этого издания, поскольку 47-й том подписан к печати 19 апреля 1957 г., то есть через год с небольшим после XX съезда.

Читаю:

„ЧАРЕНЦ ЕГИШЕ (псевдоним; настоящая фамилия СОГОМОНЯН); 1897–1937 – армянский советский поэт. Член РКП(б) с 1918. Родился в Карсе в семье мелкого торговца. Учился в местной гимназии. В 1915 добровольцем ушел на фронт. В 1918–1919 был в рядах Красной Армии. После установления Советской власти в Армении Ч. как политработник бронепоезда участвовал в столкновениях с дашнаками...

В последнем сборнике стихов „Книга пути“ (1933) Ч. в некоторых стихотворениях проявил нигилистич. отношение к истории армянского народа.”

Итак, уже после XX съезда – ни слова о репрессировании и реабилитации, только многозначительная дата смерти – 1937 год. А заключительный абзац выдержан в чисто проработочных традициях 30-х годов.

Через 11 лет в 3-м издании БСЭ, т. 29, М., 1978 этот явно неприличный пассаж убирают и заменяют стандартно бодрыми фразами о „страстной партийности“ и „напряженных творческих исканиях“ Чаренца. В целом, информации гораздо больше. Читателю уже можно сообщить, что Чаренц перевел на армянский язык множество поэтов, от Пушкина до Верхарна, „много сделал для укрепления армянской советской литературы“, был одним из создателей союза пролетарских писателей „Ноямбер“ (1925), ему принадлежит перевод „Интернационала“ на армянский язык и т. д. Заключительная же фраза прямо-таки ликует: „В 1974 в Ереване открыт дом-музей. Ч. „Обратите внимание – путь поэта прям и благополучен, хотя и „полон напряженных творческих исканий“. Не ясно только, чем они закончились. Не хватает малости: отчего и как поэт умер, от гриппа, что ли? И почему его имя не упоминалось двадцать лет? И почему так поздно открыли музей? И почему... впрочем, довольно!

И этот том, и Малая Советская энциклопедия (т. 10, М., 1961), а также Советский энциклопедический словарь (М.,

1978) без всяких комментариев эпически спокойно называют даты жизни Чаренца 1897–1937.

Постойте, но ведь есть еще и "Литературная энциклопедия"! Она хоть и "краткая" (КЛЭ), но все же, восемь томов.

КЛЭ к характеристике поэта Чаренца мало что добавляет, но одно место – о сборнике "Книга пути" – по-своему замечательно. Напомню, БСЭ, 1957: "В некоторых стихотворениях проявил нигилистич. отношение к истории арм. народа".

КЛЭ, т. 8, 1975 об этом же сборнике:

"Человек и природа, искусство и действительность, поэзия и труд, история и современность, личность и народ – таковы темы многих стихов, вошедших в "Книгу пути"¹.

Не будем обращать внимания на то, что слова эти пустые и стертые, как из юбилейного доклада. Важнее другое – они еще и "лукавые", это ж *литературная энциклопедия*! Рассмотрим их, так сказать, "под микроскопом": "...таковы темы многих стихов, вошедших в "Книгу пути". Чудесно это "многих"! Стало быть, *не всех*; кроме *многих*, есть ведь еще и *некоторые* (БСЭ, 1957).

Ай да КЛЭ! Какой изящный реверанс перед БСЭ! Еще бы, старших надо уважать. И потом, а вдруг кто-нибудь наверху, ну, хотя бы в Армении наверху, до сих пор считает, что все-таки "проявил"? А может, сомневаются: "проявил" или "не проявил"?

Изящество этого реверанса заставило меня задуматься о традициях энциклопедического изложения, и я обратился к энциклопедиям 30-х годов. Там все было попроще, порезче, поглубже. Там "рубили правду-матку".

БСЭ, т. 61, М., 1934:

"Поэзия Ч. дооктябрьского периода присущи мелкобуржуазный индивидуализм, упадочничество, национализм. Октябрьская революция вызвала в Ч. перелом. Предметом его творчества стали империалистическая война, гражданская война, большевизация крестьянских масс, величие личности Ленина в представлении трудящихся Востока. Новая тематика однако не спасла Ч. от ряда ошибок. Ч. не сумел показать борющегося пролетариата как носителя творческой силы, он показал только разрушающую стихию восставших масс, не избежал Ч. влияния футуристов, свойственно ему было и отрицание культурного наследия прошлого² и ряд других ошибок. Впоследствии эти ошибки поэтом

¹ Вроде бы не так уж и страшна эта "Книга пути"? Впрочем, КЛЭ лишь перечисляет ее темы.

² Вот они, истоки "нигилистич. отношения".

были осознаны. Язык поэта богат, образы яркие..." и т.д.

Традиции 30-х годов проступают здесь отчетливо, "каркасно", их можно руками потрогать. Конечно же, все это, вместе взятое, звучит весьма зловеще и вряд ли поэту поможет, что язык его богат, а образы яркие. Как говорится, "зачем поет он, песнь его уж спета".

Но, с другой стороны, кто из писателей "без греха" перед энциклопедиями 30-х годов? Так или почти так писали о Маяковском, Есенине, Леонове, Федине; о критиках, литературоведах, эстетиках – о ком только не писали! Писали и почище; иногда такое – хоть в петлю лезь. Но, ничего – жили. Правда, в основном, до 37-го.

Вот, не угодно ли:

"ГРОССМАН-РОЩИН Иуда Соломонович (1883–) современный критик. Родился в зажиточной купеческой семье. Начал политическую работу в возрасте 17–18 лет, неоднократно арестовывался. В 1905 был сослан в Сибирь, откуда бежал за границу, где примкнул к анархистам, организовав фракцию чернознаменцев. Отошел от анархизма в 1921–1922. Основную работу ведет в настоящее время в РАППе. Напечатал ряд работ о творческом методе пролетарской литературы... Марксистский метод применяется в них не всегда правильно". ("Литературная энциклопедия", т. 3, М., 1930).

Итого:

"родился в зажиточной купеческой семье";

"был за границей" да еще организовал там "фракцию чернознаменцев" (черт знает, что такое!);

"отошел от анархизма в 1921–1922". Поздновато!

"Марксистский метод применяется не всегда правильно".

БСЭ, т. 19, М., 1930 добавляет, углубляет и уточняет:

"из зажиточной еврейской семьи",

"эклектик",

"путаник",

"резкий и не всегда осторожный полемист".

Каков "набор"?

Покойный профессор У.Р.Фохт рассказал мне однажды известную, очевидно, в литературных кругах историю о Гроссмане-Рощине, с которым был хорошо знаком. Было это, кажется, в 36-м. Критика задержала милиция, что-то он нарушил, а документов с собою не было. Пришлось идти в отделение. "Резкий и не всегда осторожный полемист" очень спешил и тут же ввязался в перепалку с лейтенантом: "Я известный литератор, обо мне энциклопедия пишет". Не поленились, принесли из библиотеки том БСЭ и прочитали

вслух "по списку". Отпустили его лишь на следующий день.

А если серьезно, то эти статьи будто для следствия написаны. Вполне представляю себе следователя, который использовал их в "деле" Гроссмана-Рощина.

По сравнению с этим, "набор" у Чаренца, на первый взгляд, помягче. Но в статьях о нем произнесено, по крайней мере, одно роковое слово: "национализм". Для национального поэта нашей многонациональной страны это слово, пожалуй, перевесит все криминалы Гроссмана-Рощина. И опять-таки представляешь, просто видишь следователя, который, наткнувшись на это слово в энциклопедии, делает паузу, закуривает, потом берет красный или черный карандаш и жирно обводит это слово в тексте.

Что ж, общий вывод по энциклопедиям совершенно ясен: в массовых, многомиллионных изданиях упоминания о 37-м годе сведены к минимуму.

Обратимся теперь к центральным газетам. Возьмем юбилейные даты Чаренца: 60, 70 и 80 лет со дня рождения. Лишь трижды за все эти годы в них промелькнула информация о смерти поэта; собственно именно эти статьи и развеяли мои последние сомнения относительно характера смерти Чаренца¹.

1. "Литературная газета" 2 июня 1956 г.: "Жизнь Чаренца трагически оборвалась в 1937 году – в 40-летнем возрасте, в расцвете его таланта".

2. Там же, 28 сентября 1957 г.: "В 1937 году его жизнь оборвалась. Сорок лет!"

3. "Комсомольская правда" 29 сентября того же года: "Жизнь Чаренца трагически оборвалась в годы расцвета его творчества".

И это все – за двадцать лет. В десятках других юбилейных статей об этом вообще не упоминается.

Более откровенная информация содержится в изданиях специальных, ограниченных тиражом, рассчитанных на сравнительно узкий круг читателей: монографиях, сборниках, вступительных статьях. Вот что пишет, например, А. Арутюнов в книге "Египше Чаренц. Эволюция творчества". Ереван, 1967:

"Его жизнь оборвалась в 1937 году. Но и на стенах камеры он писал стихи, полные веры в революцию и ее правду. Около двадцати лет имя его было вычеркнуто из истории армянской литературы, но он всегда жил в сердце народном. И когда А.И.Микоян в своей речи на собрании избирателей в

¹Последнее, крошечное сомнение было такое: а может быть, он покончил с собой в 37-м году? Между прочим, он был близок к этому (см. далее в тексте).

1954 году в Ереване произнес только имя его – Чаренц – огромный зал разразился бурей оваций. Его ждали, и он пришел к своему народу таким же молодым, как и прежде” (с. 3).

Сказано сильно, но тираж, тираж... Всего 10 тысяч экземпляров.

Хочется процитировать еще и статью В.Лидина “Судьба поэта” из сборника “Венок Чаренцу”, М., 1967:

”Там, где условно отмечена могила Чаренца, стоит двойная арка, в полукружии которой как бы заключен темный массив Арарата, и вокруг оливковые складки гор и холмов, древняя, скорбная и нетленная, все пережившая, все узнавшая земля Армении. А на арке выбиты строки из стихов Чаренца...

С могилы Чаренца не принесешь цветы, его могилы не существует, но с нее привезешь полную кошницу чувств, и это важнее сегодня для посмертной судьбы поэта” (с. 44).

Ах, старый писатель русский, нашел же слова! И главное – почувствовал, передал трагический парадокс могилы Чаренца.

Но самое поразительное из того, что мне довелось читать о Чаренце и его *могиле* – это небольшая заметка К.Серебрякова под прозаическим заголовком “По страницам республиканских газет” (“Литературная газета” 25 декабря 1962 г.). Позвольте привести ее полностью:

”Исполнилось двадцать пять лет со дня трагической смерти крупнейшего армянского поэта-трибуна Егише Чаренца. Долгие годы дочь поэта Арпик Егишевна *втайне* хранила оставшиеся в доме рукописи отца. В потертой коричневой папке, исписанные энергичным почерком поэта листки из ученической тетради, страницы машинописи. Тут и наброски стихов, и завершенные стихотворения, заметки, фотографии за 1934–1937 гг. Многое настолько поблекло, что трудно разобрать...”

В армянской литературной газете “Гракан Терт” публикуется статья Гургена Маари “Перебирая бумаги Чаренца”.

”Я снова с тобой, учитель, – пишет Г.Маари, – мне выпала горестная участь перебирать твои бумаги и писать о них. Однажды ты поручил мне просмотреть архив Терьяна...¹.

¹ТЕРЬЯН Ваан (наст. имя Ваан Сукиасович Тер-Григорьян) (1885–1920), арм. сов. поэт и обществ. деятель. Чл. КПСС с 1917. Чл. ВЦИК. Сб. стихов “Трезвы сумерек” (1908); в патриотич. цикле “Страна Наири” (1915) с большой силой звучат гражд. и социальные мотивы. (Советский энциклопедический словарь, М., 1981).

Теперь я занят тем же делом. Но времена другие. Тогда ты жил, я был молод, а теперь...

Твои мрачные, словно глухая ночь, рукописи, то и дело сверкают зигзагами молний. Ты был вооружен оптимизмом. Даже осень ты воспел, как "солдат и жоак", который приносит "песни мудрости", а не мрак и смерть".

Автор статьи цитирует неизвестные доселе строчки Чаренца, обнаруженные в папке поэта:

"Нет более жестокого наказания, чем то, когда человека осуждают как предателя той идеи, которая была для него единственно священной и составляла единственный смысл его жизни. И нет никакого средства доказать эту простую, ясную как свет, истину.

Если так будет продолжаться,
Кто знает, в каких

Застенках ты окажешься". (Перевод подстрочный).

Это Чаренц писал перед арестом. Но он уже находился под надзором и видел царивший вокруг произвол самого жестокого периода культа личности Сталина.

А вот еще запись, сделанная поэтом 28 марта 1937 года, за восемь месяцев до своей смерти:

"Сегодня мне сорок лет...

Сегодня и двадцатипятилетие моей литературной деятельности. И вот, пропав в течение двадцати пяти лет творческого труда родную духовную ниву, я праздную свой двойной юбилей – одинокий, преследуемый поэт, ссыльный у себя же на родине..."

Далее автор статьи показывает, какую тяжелую трагедию переживал поэт.

"Что же мне делать? – спрашивает Чаренц. – *Покончить самоубийством?* Но кому это нужно, кроме классовых врагов? Оставаясь в живых, считать себя погребенным?"

"Этому благородному, мужественному голосу поэта, – пишет Гурген Маари, – не суждено было долго звучать в жестокие дни 1937 года... Но Чаренц глубоко верил, что всесильное время вернет справедливость, и он займет свое достойное место в сердце народном. И это сбылось".

В том же номере публикуется большая статья Эд. Топчяна "Снова с нами поэт" и стихотворение Вагаршака Норенца на смерть поэта, написанное в 1937 году¹.

¹НОРЕНЦ Вагаршак Танапетович (3.12.1903 –) – один из первых представителей сов. арм. поэзии. Стал членом лит. объединения "Нойембер" ("Ноябрь"), возглавляемого Е.Чаренцем... В годы культа личности был оторван от сов. литературы (1937–1954).

(КЛЭ, т. 5, М., 1957)

Комок к горлу подступает, когда читаешь такое... Низкий поклон этим отважным людям – Арпик Егишевне, Гургену Маари, Эдуарду Топчяну, Вагаршаку Норенцу.

Но вот какая мысль не дает мне покоя: газета эта, "Гракан Терт", краткий обзор который дает К.Серебряков, доступна ведь только владеющему армянским. Да и армянскому-то читателю ныне вряд ли доступна: номер наверняка уж в спецхране...

Собрать бы все это вместе – и статью Э.Топчяна, воспоминания Арпик Егишевы, Гургена Маари, стихи о Чаренце и многое, многое другое. И издать на многих языках. И (непременно!) тиражом энциклопедий. Это и был бы настоящий "Венок Чаренцу", точнее – венок на могилу Чаренца...

А теперь давайте вернемся к той радиопередаче и прозвучавшему в ней стихотворению. Перечитаем его неспешно. Оно по-своему уникально.

Кудрявый мальчик

Закрываю устало глаза
И так ясно, так ясно я вижу:
День в грядущем. Небес бирюза.
Огнекудрое утро все ближе.
Уже солнце пошло на подъем,
День гремит, как аккорд на органе.
С синих-синих небесных каём
Низвергается наземь сиянье.

К Арарату проходит шоссе
Изменившеюся Эриванью.
Сколько лет этой новой красе
И живому ее ликованью?
Вдоль дороги, по обе руки,
Переезды, дома и заводы.
Кто рубил у домов цветники?
Как густы этой зелени своды!
Воздух чист, меж домами – простор,
Мастерские меж них вперемежку.
Ни соринки кругом. Что ни взор,
То – блаженного счастья усмешка.
Вот из города мимо оград,
Попирая проснувшийся камень,
Пионерский выходит отряд,
Впереди его – красное знамя.
Слышен топот уверенный ног
И отрывистый бой барабана.
Лицы ясны, в глазах огонек,
Рады в ногу шагать мальчуганы.

По асфальту срезают дугу
И сворачивают по извику

В то ущелье, где низом Зангу
Протекает светло и шумливо,
Где прозрачное кружево плестъ
Не устало потока журчанье.
Рядом старая изгородь есть,
Под оградю камни в бурьяне,
Камни с виду без мет и письмён,
Безымянные камни — могилы.
Надо всем тишины полусон
Точно памяти призрак бескрылый.

Сверху синие своды глядят,
Виснет солнце, проходит отряд,
Полыханьем его опьяненный.
Слышен марша уверенный шаг,
Рассыпается дробь барабана,
И весна, затаясь в их очах,
Улыбается солнцу неожиданно.
Тем-то шагом без дум и забот
И обходят бурьян пионеры.
А весна — то куда-то зовет,
То о ком-то тоскует без меры.
Но внезапно из их череды
Кто-то смотрит на камни и травы.
Покидая дружины ряды,
Отделяется мальчик кудрявый.
Пионер до колен голоног,
Красный шейный платок у подростка,
Мальчик с выпуклым лбом, синеок,
В белой курточке с синей полоской.
Он подходит к камням и, всмотрясь,
Принимается скрестъ их ногтями
И стирает присохшую грязь,
Затянувшую надпись на камне.
И тогда: "Здесь покоится прах
Егише, — он читает, — Чаренца. —
И дочитывает второпях:
Стихотворца, Маку уроженца".

И как бы объясненья ища,
Он стоит, смотрит вдаль, размышляет.
И сорвавши отросток плюща,
С ним покинутый путь продолжает.
И когда нагоняет своих,
В незапамятности, как дотоле,
Остаются, оживши на миг,
Эти камни, забытые в поле.

.....

О, вернись, там ведь сердце мое!
Расстопчи его ножкам в забаву.
Ты, всех жажд моих ключ и питье,
Наша будущность, мальчик кудрявый!
1928—1929 г.

Перевод Б.Л.Пастернака

Какой широкий, полнозвучный и, в то же время, легкий и чистый голос у поэта, как просторно стиху, стихотворение как бы спето...

Помолчим.

А после паузы – по контрасту с впечатлением – дадим слово литературоведу:

“О судьбе поэта, о жизни, о новых поколениях борцов рассказал Чаренц в замечательном, удивительном стихотворении “Кудрявый мальчик”.

Радостная влюбленность в жизнь не омрачается легкой тенью грусти. Сложность настроения “Кудрявого мальчика” объясняется смещением в нем многих оттенков и настроений.

И чем светлее утро, чем радостнее краски его, тем грустней могильные камни. Чем звонче юность, чем чище взор ее, тем печальной и отшумевшая молодость. Но впереди все грядущие рассветы родины”¹.

Какой вздор! Надо быть совсем уж слепым и глухим, чтобы не увидеть, не услышать, не почувствовать в этих стихах трагического предощущения страшной, безвестной смерти: мальчик ведь *разыскивает заброшенный камень, стирает пыль и грязь с него, с трудом разбирает надпись*. Это высокая трагедия, и музыкальным эквивалентом ей мог бы стать только реквием...

Предчувствовал он, что ли, в 1929 году свою могилу, могилу Чаренца?...

.....

Представим себе на миг экскурсию по дому-музею поэта. Бойкая молоденькая учительница и экскурсовод – аспирант-филолог местного педвуза или университета, подрабатывающая в свободное время на этих экскурсиях. И стайка пионеро-пятиклассников, которых привели сюда, скорее всего, на какое-нибудь обязательное мероприятие, пионерский сбор, например.

И – опять же представим: среди ребятишек – любознательный “мальчик кудрявый” 80-х годов...

О, спроси, спроси, мальчик кудрявый”!

– Дяденька, а как умер Егише?

– ?? !!

– А где его могила?

– Ну, в арке-то ты был, наверно...

– А мне там сказали, что это место условное, а можно ли найти настоящее?

– ?? !!

– А что это за год такой, 37-й?

¹ Ар. Григорян. Пoesия Егише Чаренца. Ереван, 1961, с. 193.

– !!!!!

НЕ СПРОСИТ... Отучили. Вытравили из памяти. Оглушили. Уже давно и целенаправленно действует этот механизм, машина забвения. Да что там, пионер-пятиклассник! У большинства нынешних студентов – это сочетание "37 год" никаких особенных ассоциаций не вызывает. Как у молоденького лейтенанта Зотова из рассказа А.Солженицына "Случай на станции Кречетовка". Помните его разговор с актером Тверитиновым?

– Да и вообще у нас вопросы задавать опасно.

– В военное время, конечно.

– Да оно и до войны уже было.

– Ну, не замечал!

– Было, – чуть сощурился Тверитинов.. – После тридцати седьмого...

– А что тридцать седьмой? – удивился Зотов. А что было в тридцать седьмом? Испанская война?"

.....

И все же, и все же...

"Мальчик кудрявый" 80-х годов! Пошли к чертям собачьи металлом и макулатуру – без тебя соберут. Туда же – военную игру "Зарница" и "Уроки мужества".

Найди, о найди могилу Чаренца! Пока есть хоть капелька надежды – ищи ее, ищи!

Это ведь и тебе тоже кричал из тюремной камеры великий Поэт:

Если так будет продолжаться,
Кто знает, в каких
Застенках ты окажешься.

ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ ТЕАТРОВ

Просматриваю свежий номер "Советской культуры". Сначала даже и внимания не обращаю на эту маленькую заметку – обычная хроника культурной жизни, пробегаю глазами – и все. Потом вчитываюсь и чувствую, как мороз пробирает по коже.

"В Саратове спектаклем "Слуга двух господ" К.Гольдони закончил гастроли Немецкого драматического театра из Темиртау. На берега Волги труппа приехала впервые и привезла свои лучшие работы. Жители городов Маркса, Энгельса и Саратова познакомились со спектаклями "Коварство и любовь" Ф.Шиллера, "Стакан воды" Э.Скриба, "Физики" Ф.Дюрренматта, "На улице за дверью" В.Борхерта, "Женитьба" Н.Гоголя, "Гензель и Гретель" И.Лангемана. В гастрольную афишу были включены также спектакль для

детей "Кот в сапогах" Х.Калау, театрализованные и фольклорные представления".

А.Праздников, наш. соб. корр.

("Советская культура" 29 июня 1985 г.)

Вот какие "ностальгические" получились гастроли...

Кто же эти актеры?

Среди них – вполне возможно – есть и те, которых везли в эшелонах в этот самый Термиртау.

А среди зрителей "Маркса, Энгельса, Саратова" (вполне возможно!) найдутся и охранники (ныне – на "заслуженном отдыхе"), которые тот самый эшелон сопровождали...¹.

.....
"Мальчик" из Темиртау!

Когда вырастешь и повзрослеешь, не поленись – в библиотеке, в архиве, в книгохранилище, в спецхране – где хочешь! но откопай, разыщи, найди эту заметку.

Прочти и содрогнись.

1985 г.

В МАГАДАНЕ У КОЗИНА

В 50-е годы я учился на литфаке Московского государственного педагогического института им. В.И.Ленина. Как-то раз в наше общежитие прибежал крайне возбужденный Юра Коваль, студент 3-го курса (ныне известный детский писатель) и, размахивая маленькой синей бумажкой, закричал мне прямо в ухо: "Скорей собирайся!" А я отключен полностью, ничего не вижу, не понимаю: играю последнюю решающую партию матча с Лёвой, по прозвищу Маэстро, игроком сильным, но самоуверенным, на чем я его часто

¹Не ожидаются ли в ближайшем будущем гастроли в Ялте Крымского татарского театра?

ловил. Свое прозвище он воспринимал без всякой самоиронии, видимо полагая, что вскоре и вправду станет шахматным мастером. Юра подоспел как раз в тот момент, когда я стоял хорошо, прочно и в голове уже вызревала матовая комбинация с жертвой слона на h7, но стоило на секунду отвлечься, уставиться на эту бумажку, как все рухнуло, я сам позорно зевнул простейший мат в два хода. Маэстро, убирая фигуры и сочувственно улыбаясь, все-таки не удерживается: "У меня Майзелис есть, принести?" Это уж совсем непереносимо, удар в самое сердце: Майзелис – автор книги для начинающих шахматистов. Потрясенное сознание не воспринимает, что кричит уязвленный невниманием Юра, долетают только отдельные слова: "Вертинский!", "Один билет!", "ЦДКЖ!" В глазах у меня: Ch7+! и от долгой игры все окружающее разграфлено в шахматную клетку.

Наконец, спрашиваю, в чем дело. Оказывается, есть лишний билет на концерт Вертинского в ЦДКЖ, и бедный Юра тащился через все Москву, чтобы меня на этот концерт пригласить. Я уже постепенно отхожу от гипноза проигранной партии, черт с ней, завтра отыграюсь. Но тут все решилось самым роковым образом. Ушедший было Маэстро вернулся, видимо, решив, что в таком состоянии меня надо добивать, чтобы окончательно утвердить превосходство: "Может быть, реванш?" Все кончено. Разумеется, реванш.

Всерьез обидевшись, Юра убегает, хлопнув дверью. На концерт пошел кто-то другой. А через неделю мы узнали, что это был последний концерт Вертинского, вскоре он умер. Было это в 1957 году.

До сих пор не могу успокоиться, простить себе, хотя простить вроде бы и нетрудно: азарт. Шахматный блиц – одна из немногих на свете игр, заставляющих забывать все окружающее – прошлое, настоящее и будущее. Но все-таки дело не только в этом. Когда Юра назвал Вертинского, в моей голове мгновенно прокрутилось примерно следующее: "Вертинский? Песенки? Пхе... Ваши пальцы пахнут ладаном... Вообще-то интересно, к тому же и актер, князь в "Анне на шее". И все-таки, ну его! Ожившее лампадное масло, и в зале, поди, полным-полно старушек с надушенными платочками, ну его! Никуда он не денется, еще схожу. Маэстро, к барьеру!" Так рассуждал я с поразительной самонадеянностью юности. А он ушел. Маэстро остался, а Мастер ушел...

Впрочем, тут есть и еще одно объяснение. Вертинский, Козин, Лещенко – все они, группой, скопом отпечатались в душе еще со старших школьных лет как нечто второстепенное, невысокого вкуса и качества, с оттенком пошловатости, а после ждановского доклада – и кощунственности, что ли, в

нашу эпоху "великих свершений." Сейчас-то ясно, что эта ветвь музыки, как и джаз – тоже разновидность украденной у нашего поколения музыки, насильственно выдернутой из нашего духовного мира.

Интерес к ней, конечно, был, и это не только ностальгический интерес людей, помнящих предвоенные вечеринки. Интересовалась и молодежь, видимо, по принципу – запретный плод сладок. А все это действительно было официально запрещено, не игралось, не исполнялось, до переизданий и перезаписей было еще лет двадцать пять. Как удивились бы мы, если б узнали, что в 70-е годы выйдут три пластинки Вертинского, в 80-е по три Козина и Лещенко, кстати, по популярности дисков за 1988 год пластинка Лещенко идет вслед за Высоцким.

И все же наше отношение к этим песням было в основном ироническим. Еще и потому, что Козин и Лещенко (Вертинский меньше) – это была "музыка на рёбрах" – рентгеновских снимках переломов бедра, туберкулезных каверн, искривлений позвоночника, что естественно вызывало усмешку. Помню, как хохотал мой товарищ, истративший на такую пленку немалую долю стипендии, на которую тогда жил. Купил он ее на толкучке, принес в общежитие, поставил на проигрыватель и услышал сначала отборную ругань, а затем: "Что, Лещенко захотелось?"

Но главная причина в другом. В наших душах тогда мощно вибрировал недавний XX съезд и все *несоциальное* отметалось нами, жадно впитавшими Дудинцева и Яшина, Щеглова и Евтушенко, пронзительную песенную лирику раннего Окуджавы. Вертинский, Козин и Лещенко никак не вписывались в этот контекст ("не о том поют!"). К тому же 1956–1957 годы – это эпоха "беспесенья", ранняя заря бардов, начало охлаждения к песне официальной, лучшие образцы которой еще недавно в школьные годы и на первых курсах института взволнованно пелись за столом, а теперь в нашем общежитском застольи кто бы осмелился затянуть: "Ой, цветет калина..."?"

.....

И все-таки через восемь лет судьба вознаградила меня за тот невольный, но досадный промах с Вертинским. Мне довелось встретиться с другим известным исполнителем песен – Вадимом Алексеевичем Козиным и не в концерте, а у него дома. В Магадане. После окончания аспирантуры при кафедре советской литературы МГПИ им. В.И.Ленина я получил назначение в Южно-Сахалинский пединститут, где проработал несколько лет.

И вот в январе 1965 года автобус из аэропорта мчит

меня в столицу Колымского края. В портфеле командировка (я должен читать лекции заочникам местного пединститута) и письмо Козину от Валентины Михайловны Сенкевич, преподавательницы нашей южно-сахалинской кафедры, недавней магаданской жительницы. Письмо рекомендательное и с просьбой записать кассету песен.

В Магадане я впервые. Садясь в автобус, машинально гляжу на термометр рядом с аэропортовскими часами – минус 32. Ну что ж, в Хабаровске при пересадке было 30, да и у нас в Южном бывает, правда, очень редко. Из Южно-Сахалинска с его мягкой снежной зимой я приехал в надетом на свитер легкомысленном осеннем пальтишке, полуботинках и легких перчатках, полагая, что и ходить мне в Магадане особенно некуда – из гостиницы в институт и обратно. В автобусе полно студентов, моряков и все нараспашку, кто в куртках, кто в плащах, зазвенела гитара и стало совсем, как в московской электричке. Наверно, думаю, не так уж и страшен этот магаданский мороз, как его малюют.

Потом стало ясно, что я сел в неотапливаемый автобус, а может быть, отопление отказало в дороге. Постепенно промерзли стекла, стало ледяным сидение, по салону клубами пошел пар. Сколько еще ехать, час? Оказалось, три. Оглядываюсь вокруг: студенты, как ни в чем не бывало, поют, моряки играют в карты, старушки дремлют. Продышиваю пятнышко в совсем уже промерзшем окне – там свинцово-сизая мгла и слышно, как хлещет встречный ветер с моря. Холод пробирается сначала за шиворот, отдаваясь ознобом по спине, потом промерзают кончики пальцев, уже не помогает, что дышу на них, и, наконец, ноги. До того момента, как полностью отключилось сознание, успеваю заметить, чего не заметил раньше: студенты и моряки все в теплых ботинках, а кто и в унтах. Очнувшись нескоро, уже на подъезде к городу. Стремглав выскочив из автобуса, бегу к ближайшему гастроному и там, втиснув ноги в раскаленные батареи, постепенно прихожу в себя.

Тут бы и написать, что в этот момент меня ожгла трагедия колымских зеков и история этой проклятой богом, усеянной костями трассы, по которой ехал. Если бы... Просто я наглядно и с ужасом представил себе, каково им было при минус 40–50 да еще на пронизывающем до костей ветре. Ожог, потрясение и осознание пришли позже, с песнями Галича, книгами Солженицына, Домбровского, Шаламова. А главное – с возрастом. Новым возрастом души.

Магадан – город небольшой, обстроенный добротными, тяжеловато-парадными зданиями, улицы прямые и широкие, чисто, благополучно и по крайней мере в центре мало что напоминает о прошлом.

Уладивши за несколько дней свои командировочные дела, направляюсь к Вадиму Козину. Его квартира как раз в одном из таких добротных домов в центре.

– Вы от Валентины Михайловны? – спрашивает он меня. – Проходите, она мне вчера звонила.

Прохожу в коридор, вешаю пальто на оленье рога, вхожу в просторную комнату и вижу рояль старинной работы, на тумбочке магнитофон "Днепр", рядом "Комета", все остальное пространство занято книжными стеллажами, отдельно стеллаж с магнитофонными кассетами и пластинками. Много фотографий, некоторые с надписями. Жадно всматриваясь во все это, совершенно непроизвольно на несколько мгновений забываю о хозяине, а он, очевидно, привыкший к подобному, стоит рядом и деликатно молчит.

И тут быстро вспоминаю, как несколько лет назад попал в другую знаменитую квартиру – поэта Николая Асеева, о котором тогда писал диссертацию. Меня привел туда поэт Лев Озеров, член комиссии по литературному наследию Асеева. Вхожу в гостиную и буквально застываю на месте, впиваясь взглядом в картины, фотографии, которыми увешаны стены: Маяковский, Каменский, Крученых, Бурлюк. Озеров представляет меня как молодого исследователя вдове поэта Ксении Михайловне, я впиваюсь взглядом и в нее, еще бы: "Оксана! Жемчужина мира!" И вдруг Ксения Михайловна с виду тихая старушка со следами былой красоты, обведя меня недобрый взглядом, говорит резко и колко: "Так вы исследователь или следователь?"

Я опешил. (Не исключено, конечно, что после недавней смерти Асеева над его архивом поработали и следователи, как говаривали раньше, пушкиноведы с наганами.) Добрейший Лев Адольфович Озеров, от души смеясь, успокаивает: "Исследователь, исследователь, можете не беспокоиться". Но похоже, она долго не могла успокоиться. И только когда я доложил комиссии о новонайденных асеевских текстах времен гражданской войны на Дальнем Востоке, где в то время жил поэт, она подобрела. Видимо, это напомнило Ксении Михайловне о годах молодости.

Не испугать бы и Козина! Но нет, обернувшись, я встретил его взгляд – так смотрят старики одинокие, но крепкие, не потерявшие вкуса к жизни и интереса к людям. Странное дело! Я очень смутно запомнил его лицо, фигуру, мимику, жесты, но глаза врезались в память. Он рассматривал меня изучающе-пристально, но и весело, приветливо, может быть, с чуть снисходительной иронией.

Как-то незаметно быстро мы разговорились о песне и романсе, Пастернаке и Блоке, Ленинграде и Магадане.

Передо мною был человек огромной эрудиции и тонкого вкуса. Конечно, я боялся проронить хоть слово о его магаданском прошлом, да и он, вероятно, никогда не говорил об этом с малознакомыми людьми. Зато о своем нынешнем положении рассказывал охотно и, мне показалось, спокойно.

– А вы знаете, я привык. Я теперь магаданец. Кто меня ждет в столицах и помнят ли? А здесь у меня слушатель. Каждую осень гастролирую по Дальнему Востоку, полные залы, что еще нужно?.. Однако к делу!

Он быстро и умело подготовил аппаратуру к записи, сел к роялю, и я услышал практически весь его популярный репертуар. Сознаюсь, что насал слушать все-таки с некоторым предубеждением, эстетическим подозрением, что ли, вспомнилось давнее: "не о том поет". Но чем больше вслушивался в пение, тем более рассеивались эти предубеждения. Прежде всего искренность, теплота интонации, задушевность – в коварном для исполнения романсе всего этого не подделаешь. Конечно, это был уже не тот Козин, голос звучал чуть надтреснуто, но голос певца умного и тонкого. А знаменитый "Мой костер", по-моему, никто и никогда не пел лучше Козина. Он пел долго, с удовольствием, и от песни к песне крепнул его голос.

Не очень твердый в его репертуаре, я тут же попадаю впросак.

– Вадим Алексеевич, если не очень устали, спойте, пожалуйста, "Татьяну".

– Это Лещенко, – быстро взглянув на меня, ответил он, – я это тоже пел, но он пел лучше...

– Знаете что? Тут еще остался кусочек пленки, я лучше спою вам это.

И тут на моих глазах произошло чудо. Чуть заметным движением он расправил плечи, лихо провел рукой по, увы, уже не существующей шевелюре, сверкнул глазами и с каким-то бесовским темпераментом запел:

Что мне горе? Жизни море
Можно ль вычерпать до дна?
Сердце, тише; выше, выше
Кубки жизни и вина!

Ей-богу, это был молодой Козин. И я понял, отчего плакали на его концертах люди, бросались на шею женщины...

– Что это я так распелся... А! У меня, знаете ли, сегодня радость. – Он взял со стола конверт. – Как вы думаете, от кого письмо? – И произнес торжественно, отдельно: – от Анны Андреевны Ахматовой. Хотите послушать? (Господи, еще бы не хотеть!).

И прочитал мне отрывки из этого чудесного письма. Цитирую по памяти.

– "У нас слякоть, гололед. Алеша Алексеев сломал ногу." – Неподражаемая Анна Андреевна сообщала свежие "светские новости".

– Алеша Алексеев, – чуть улыбнувшись пояснил мне Козин, – знаменитый еще до революции конферансье. Сейчас ему, наверно, под девяносто.

"...Твой романс – прелесть, он растрогал меня. Бог с тобой. И будь здоров".

– Вадим Алексеевич, вы пишете музыку? Если не секрет, что это за романс?

Козин молча встал, порывлся в стеллаже, вынул нотную тетрадь, раскрыл ее и совсем по-другому, церемонно, как в зале консерватории, сел за рояль. И на прощание подарил мне, может быть, самое яркое и глубокое впечатление.

Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни,
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.

Знаменитый ахматовский "Приморский сонет", где трагическая тема неизбежности конца как бы смягчается, растворяется в акварельных тонах грусти и печали, думается, что это было передано и в мелодии – исповедально-искренней, простой и запоминающейся. С тех пор я не слышал этого романса, но тогдашнее впечатление было очень сильным, и я даже сравнил его со знаменитым романсом Бородина "Для берегов отчизны дальней". Но Козин, похоже, едва ли слышал меня. Он был далеко отсюда, быть может, "на берегах Невы"...

Пора собственно и прощаться, да и не хотелось уже ничего больше слушать после "Сонета". И надо собираться к ночному рейсу.

– Вадим Алексеевич, огромное спасибо. А за "Сонет" особенно.

– Ну, ну... Бородин. Куда махнули. Незачем тревожить тени великих. Будьте счастливы, юноша.

Песни Козина вновь возвращаются слушателю. И в этом видится не только историческая, но и эстетическая справедливость.

Что ж было потом? Потом появился Александр Аркадьевич Галич и на долгое время потеснил в моей душе все песенные знаменитости прошлого и настоящего. Но это другая, особая тема.

1988 г.

МОГУЧИЕ КУЧКИ

Мы страстно желаем, чтобы у нас была своя "могучая кучка", чтобы она была многочисленнее и сильнее чем та, которая когда-то поразила мир своими талантами и прославила наш народ. Если вы используете до дна гениальное классическое наследие и вместе с тем разовьете его в духе новых потребностей великой эпохи, вы станете советской "могучей кучкой".

Из речи А.А.Жданова на I Всесоюзном съезде композиторов, 1948 г.

Не надо создавать "могучую кучку" только в Москве. Давайте создадим "могучие кучки" на нашей многонациональной родине, чтобы у нас была не одна "могучая кучка" в Москве, а 16 "могучих кучек" по числу наших национальных республик... Когда в ЦК партии Узбекистана нам был задан вопрос, почему нашу музыку не понимает народ, тт. Козловский и Мушель¹ ответили, что они не могут создать узбекского Глинку. Каждый из нас понимает, что узбекский Глинка должен быть узбеком, но такая постановка вопроса в корне неправильна, ибо узбекский Глинка может оформиться только при помощи нашего старшего брата — русского народа. Поэтому мы просим вас, товарищи композиторы, помочь нашему узбекскому Глинке. (Смех, аплодисменты).

Из речи М.Левиева (Узбекская ССР) на I Всесоюзном съезде композиторов, 1948 г.

Первомайское утро, прохладно и ветрено, но уже весна. Парад на Красной площади, на трибуне Мавзолея Сталин, Жданов, Берия, Калинин, маршалы, генералы. Войска уже прошли, прошли и трудящиеся с цветами, портретами и флагами. Дело идет вроде бы и к концу, но все ждут чего-то еще, переглядываются, перешептываются. И вот Жданов почтительно склоняется к самому уху Вождя, тот милостливо кивает. Площадь давно пуста, и пауза длится томительно долго.

И вдруг — из рупоров голос Левитана, такой оглушительно громкий, что слышно, кажется, на всю страну:

— На площадь вступают представители многонациональной советской музыки!

Звучит барабанная дробь, потом глинкинское "Слався"! и на площадь вступают 16 "могучих кучек". Впереди русская: под Бородина, Балакирева, Мусоргского, Римского-Корсакова, Кюи загромированы Прокофьев, Шостакович,

¹Московские композиторы А.Козловский и Г.Мушель жили и работали в 30—40-е годы в Ташкенте.

Хачатурян, Шапорин, Шебалин. Впереди старейшина нашего музыковедения Б.В.Асафьев, надо полагать, – В.В.Стасов, а в самом хвосте – Цезарь Антонович Кюи.

Тут перед самым моим носом закачалась чья-то шляпа, изображение исчезло, а когда появилось вновь, оказалось, что вижу уже совсем другое. Впереди "кучек" движется странная платформа, похожая на выдвижную вышку кинооператора, но чем-то смахивающая и на сторожевую. На ее вершине помахивает палочкой дирижер в генеральском мундире. Но где же музыканты, где певцы и танцоры? Да вот же они! По обеим сторонам движения демонстрантов растянулись двойные шеренги военных. Признаться, сперва подумалось, что это просто оцепление, но вот взмахнул палочкой дирижер, и они пошли, обтекая с двух сторон демонстрацию "кучкистов". По площади разносится мелодия знакомого армейского марша. Композиторы высоко поднимают над головой толстенные партитуры, на них красными буквами выведено: рапортуем, рапортуем, рапортуем!

Но вот с трибуны Мавзолея звучит сначала астматический кашель, а затем и голос Жданова: "Да здравствует советская могучая кучка!" Композиторы на миг теряют шаг, действительно сбиваются в кучку, инстинктивно жмутся друг к другу, а потом – бегом, бегом, сзади поджимают другие. Шостакович-Балакирев роняет очки, они хрустнули под чьим-то ботинком, старик Асафьев вообще отстал, но постепенно колонна выравнивается.

А тем временем по площади идут все новые и новые "могучие кучки". Сквозь армянские, грузинские, киргизские черты проступают черты знакомые: Бородин, Балакирев, Мусоргский... Над площадью опять гремит "да здравствует!", и они опять на мгновение застывают. Кашель действует гипнотически, ну а голос... Голос звучит трубою Страшного суда.

Услылав его, Ануш, героиня одноименной оперы Армена Тиграняна, вдруг закатывает глаза, расталкивая всех опрометью бросается куда глаза глядят и оказывается в конце концов в чужой "кучке", грузинской, на руках сердобольной Даиси из оперы Захария Палиашвили. Но взмах палочки и двое военных уже ставят ее, деревянную, безжизненную, как куклу, на свое место, слегка подталкивают, и она идет дальше.

А в грузинской "кучке" и того хуже. Вано Мурадели, услылав еще не голос даже, – кашель, тут же споткнулся, наступил на тигровую шкуру, в которую был завернут почтенный Дмитрий Аракишвили, автор оперы "Витязь в тигровой шкуре". Шкура слетела и была моментально затоптана.

Быть бы скандалу, но рядом, как черт из табакерки, уже выскочил молоденький бравый лейтенант. По губам вижу – успокаивает: "Ребята, не надо! Тихо".

Снова тишина. И снова голос Левитана: "На площадь вступает (пауза) узбекская "могучая кучка"!"

Впереди ее на некотором отдалении от основной группы небольшого роста узбек в национальном наряде, шароварах и с бубном. Все это чудовищно диссонирует с глинкинской бородкой и усами, как если бы Эйнштейна нарядили в кафтан. Он смертельно бледен, видимо через силу приплясывает и бьет в бубен. Мотив вроде бы и свой, но нет-нет да и промелькнет в нем знакомое, то из "Сусанина", то из "Руслана". Когда прозвучало: "Слава узбекскому Глинке!" он вздрогнул, пошатнулся, уронил бубен... Но тут с криком "поможем нашему Глинке!" из узбекской "кучки" вырвались Козловский-Римский-Корсаков и Мушель-Кюи и успели-таки подхватить "узбекского Глинку" на руки.

А дальше все смешалось, закружилось и понеслось в маскарадном вихре! Откуда-то выскочил на белой лошади композитор Лев Книппер и продирижировал своей песней "Полюшко-поле", вся площадь подхватила ее. Прокофьев близоручко уперся прямо в морду лошади. Вдали пестрая толпа, кого там только нет! И все это запрыгало, завертелось в моем бинокле, словно в детском калейдоскопе, а потом аккуратно сложилось в отдельные резкие картины и кадры.

Композитор Энке, автор оперы "Любовь Яровая", одетый во фрак, церемонно, как в фигуре полонеза, ведет за руку почтенного вида даму в кожаной тужурке, удивительно похожую на Пашенную. Минуточку! Это она и есть. Рядом "братишка" в тельняшке и бескозырке, широченных клешах с трудом, обливаясь потом, несет почти метровую модель корабля, видно на совесть сработанную в каком-нибудь доме пионеров. Ба! Это же композитор Чишко, написавший оперу "Броненосец Потемкин"!

Но вот, кажется, и апофеоз. На площадь въезжает машина с открытыми бортами, пол устелен красным сукном. Там стоит главный дирижер страны Николай Семенович Голованов. Сегодня он дирижирует не симфоническим, а огромным духовым оркестром, и оркестр исполняет "Кама-ринскую" Глинки.

Пляску начинают танцоры-военные. Постепенно они втягивают, вернее вытягивают в нее композиторов-"кучкистов", одного за другим. Те, неумело притоптывая и прихлопывая, жалко улыбаясь, пытаются сплясать, как "камаринские мужики". А танцоры их подбадривают: "Хорошо, ребята, хорошо! Еще раз! Гоп-ля-ля! Гоп-ля-ля!"

Вдруг один из танцоров стремительно выбегает из круга и чешет через площадь, на ходу расстегивая кобуру. Толпа шарахается от него, образуя некий коридор. Я вижу в бинокль его злобные глаза, они все ближе и ближе. Но куда же он? Уж не ко мне ли?! Бинокль как приклеился к лицу и нет сил оторвать его. А танцор уже рядом, пятерней хватая бинокль, размахнувшись бросает его далеко в сторону, тот кракает, подскакивает на брусчатке, роняя стеклянные брызги. Из-за спины танцора выскакивает другой, "руки, руки!" быстро бросает ему танцор, а сам сдавливая мне горло воротом рубахи:

– "Ты! Сука! Падло! Гад!" Дышать нечем.

.....

Я сидел в постели, курил сигарету за сигаретой. Уже развиднелось, рассветало.

– Ну ладно, дружище, что ж делать, пойдем на речку.

Это я говорю своему спаниелю Арто, он уже давно наблюдает за мной, даже ухо поднялось.

Цна, голубка Цна, ну здравствуй!

Арто несется далеко впереди, а я по крутому склону спускаюсь к воде, вдыхаю неистребимо знакомый по далекому детству и ныне такой же запах реки, запах куги и мокрой вербы. Ребятишки сколачивают из досок плот, отправляются в плавание. Ах, хорошо! Весна!

Но что же это народу полным полно? Пробежали стайкой пионеры, закачались разноцветные шарики на проводах, проехал перепоясанный кумачом грузовик.

– Батюшки! Сегодня ж Первое мая! К восьми сбор на демонстрацию.

1985 г.

ГОЛОС АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА

С творчеством Александра Аркадьевича Галича я познакомился несколько позже моих столичных друзей. До Южно-Сахалинска, где в 60-е годы я жил и работал в местном пединституте, его песни еще не дошли. Судьба не одарила меня встречей с ним ни в концерте, ни в компании. Я слышал его только на магнитофоне. С некоторой завистью узнаю из воспоминаний, каким блестящим острословом он был в беседе, изумительным рассказчиком, обаятельным человеком, аристократом духа – всего этого, увы, мне не довелось видеть и слышать, я слышал только магнитофон-

ного Галича. Но – процитирую певца – ”и этого достаточно”. Глубоко убежден, что говорю от имени многих.

Отчетливо помню, что впервые услышал его в середине 60-х. Тогда мне часто доводилось бывать в Москве, готовя к защите диссертацию.

С самолета сразу в такси, раз в год можно такое позволить! И вот я уже на квартире друзей, в разгаре шумное застолье, и спустя какое-то время Ира, жена Юлия Кима, говорит мне:

– Димыч, а ты Галича слышал? Хочешь послушать?

И отрывает от интересного разговора.

– Нет. Какого Галича? – отвечаю рассеянно. – Драматурга, что ли?

На мгновенье за столом стихло, и все уставились на меня: как, он не слышал Галича?!

Мне стало неловко, не сморозил ли глупости? И я стал мучительно напрягать память: Галич, Галич, кто ж такой Галич? И память, наконец, подсказала: ”Вас вызывает Таймыр”. В школьные годы, в дотелевизионную эпоху, я часто слышал эту пьесу по радио, кажется, она получила Сталинскую премию. Стало быть, драматург, а может быть, драмодел, приспособленец, наподобие Сурова или Софронова? Разыгрывают меня, что ли? Какие песни мог написать драматург Галич, такие же, как драматург Софронов? Может быть, приглашают посмеяться над примитивом? Нет уж, дудки, тут какой-то подвох или розыгрыш, я на всякий случай. ”собрался”, тем более, что за столом в это время раздался чуть капризный женский голос: ”Ой, да ну его, что-то надоел. Каждый день Галич, Галич...”

Это, как я понял позднее, кто-то из ”переслушавших” Галича, ”объевшихся” им, вполне допускаю такое, его, действительно, можно было ”переслушать”, чего, разумеется, не следовало делать, Галича непременно надо слушать небольшими дозами, возможно, даже по одной-две песне в день.

– ...Как, он не слышал Галича?!

– Помилуйте, я все-таки с Сахалина прилетел.

– А, ну да, конечно, конечно.

Включили магнитофон, и я услышал:

У лошади была грудная жаба.
Но лошадь, как известно, не овца,
И лошадь на парады выезжала,
А маршалу об этом ни слова.

А маршал, бедный, мучился от рака
И тоже на парады выезжал.
Он мучился от рака, но, однако,
Он лошади об этом не сказал.

Нам этот факт великая эпоха
Воспеть велела в песнях и стихах,
Хоть лошадь та давным-давно издохла,
А маршала сгноили в Соловках.

Впечатление было сильным, но и немного странным, неопределенным, таких песен я еще не слышал и трудно понять с первого раза, о чем, собственно, она. Но голос... Голос захватывал сразу, завораживал, пленял, и это было, пожалуй, первым, самым сильным потрясением. Не знаю, учился ли он пению специально, но казалось, что этот чуть глуховатый, приятного тембра баритон, чем-то едва уловимо напоминающий французских шансонье, например, Брассанса, поставлен. Но и тогда уже чувствовалось, а позднее пришло как истина: главное здесь не голосовые данные, хотя это и очень существенно. Голос Галича следует понимать шире: и пение, и песни, голос певца и поэта.

В нем было необычайное, неизвестное мне до сих пор по песням других бардов, богатство интонаций, самых разных, какая-то необыкновенная их плотность на единицу текста. Из своего голоса, если вспомнить известное выражение, он мог "сшить" все, что угодно.

Так и в этой, первой услышанной мною песне Галича, поразила концентрированность формы: "словца", "Соловки", "маршал", "сгноили", "великая эпоха", зловещее упоминание о раке, "лошадь издохла"; грустно, ассоциативно промелькнувшее в припеве романское "кого-то нет, чего-то жаль", – интонации, слова самых разных лексических рядов, мелодия, исполнение – все стягивалось, связывалось в неразрывный узел. И лишь позднее я понял, зачем это и о чем песня.

Возможно, она написана и раньше, но я услышал ее в середине 60-х, когда сначала тихо, а затем и энергично началось отдаление от решений XX съезда. Вместе с А.Твардовским (поэма "По праву памяти" ходила в "самиздате") Галич одним из первых сигнализировал об этом. Его песня – призыв к строгой и честной памяти, для которой все важно и необходимо в эпоху, и великое и малое, ибо без малого нет великого. Это пелось, когда отовсюду несло: "никто не забыт, ничто не забыто", а из официального словоупотребления изгонялся "37 год" и из газет, журналов, даже энциклопедий нельзя было понять, когда и от чего умерли Тухачевский и Блюхер, Мейерхольд и Бабель, Артем Веселый и Иван Катаев.

Заметки, следующие ниже, это и мои тогдашние впечатления и – по необходимости – позднейшие размышления о том, что значил для меня Галич в 60-70-е годы...

.....

Судьба бардовской песни¹ в то время напрямую зависела от колебаний и изменений "наверху": то "зеленая улица" (скажем, после XXII съезда), то "красный свет" (особенно после введения советских войск в Чехословакию 21 августа 1968 г.). То "Неделя" собирает за "круглый стол" всех бардов и публикует целый разворот с отчетом об этой встрече, то Киму, Галичу, Высоцкому сначала "не рекомендуют", а затем и запрещают публичные выступления.

Мне рассказывал Юлий Ким, как однажды его вызвали (не помню точно, то ли в Министерство культуры, то ли в райком) и некая пожилая дама, похоже искренне, недоумевала:

– А я вообще не понимаю, зачем нужны эти песни, ведь есть же прекрасные песни советских композиторов. Зачем еще эти?

– Ну, – несколько обескураженно возразил Ким, – допустим, они заполняют вакуум...

– Вакуум? Какой вакуум, что вы говорите? А Дунаевский, Соловьев-Седой, Блантер, Пахмутова, наконец! Вот что должен петь и поет наш народ!²

Что тут скажешь... Естественно, партийные и министерские чиновники всегда смотрели на бардовскую песню негативно и даже враждебно: с ней хлопот не оберешься, того и гляди, выйдет из-под контроля. Но есть здесь и еще одно важное обстоятельство: бардовская песня в ее социально-сатирическом варианте (естественно, исключая туристско-романтическое направление) только начинала входить в общественное сознание.

И тут появился Галич.

О, голос Галича! Казалось, он вобрал в себя голоса всех бардов: и нежный шепоток Новеллы Матвеевой, и элегичность Окуджавы, и неистовый напор Высоцкого, и ядовитые стрелы пародий Юлия Кима; но вбирая их, он никогда и никого не повторял, оставаясь только Галичем. Нет, нет, я нисколько не умаляю оригинальности перечисленных авторов. Точнее будет сказать, Галич вбирал, включал в свои песни те интонации жизни, которые выражались этими авторами, и делал это блистательно, виртуозно, как бы

¹Ныне чаще употребляется слово "авторская песня". В 60-е годы такого термина, по-моему, не было.

²Все это мне напомнило следующее место из "Театрального романа" М.Булгакова.

– Разве уж и пьес не стало? – ласково-укоризненно спросила Настасья Ивановна. – Какие хорошие пьесы есть. И сколько их! Начнешь играть, в двадцать лет всех не переиграешь. Зачем же вам тревожиться, сочинять?

походя, что свидетельствовало об огромной силе его таланта. Такое мог позволить себе только Галич.

Мне кажется, что в то время (начало и середина 60-х), когда Высоцкий и Ким еще оттачивали свое мастерство, Галич уже нашел, отточил его. Думаю, например, не случайно, что несмотря на ясное понимание мощности явления, Высоцкий находился у меня под некоторым эстетическим подозрением. Уверен, что не только у меня. Вспоминаю, как после прослушивания одной из пленок, Ким заметил: его песням не хватает коды (т.е. выразительного финала, т. е. в конечном счете – мастерства). И я с ним полностью согласился.

(Повторяю: речь идет только о том времени, когда "Банька", "Кони", "Клоуны" и другие шедевры Высоцкого нам не были еще известны).

Я и поныне убежден, что творчество Галича было самым ярким, глубоким и универсальным проявлением в жанре бардовской песни в 60-е годы. Один из критиков назвал его песни "человеческой комедией". Именно так, ничуть не меньше.

По характеру своего дарования Галич был прежде всего сатириком, но сатириком не "улыбательным", не из тех "писателей-сатириков", которыми нас потчуют в передаче "Вокруг смеха"; он сатирик прирожденный, от бога, от русской сатирической традиции, от Гоголя и Шедрина, Зощенко, от сатиры жалящей и карающей, в которой смешное и печальное рядом, ибо сатира и трагедия – родные сестры. Слушая его песни, вспоминаешь то печальные очи Зощенко, вззирающие на "граждан республики", тогоголевское "над кем смеетесь?", то шукшинское "люди, что с нами происходит?" и даже самое смешное – "Парамонова" или "Баллада о прибавочной стоимости" – это и печальные, как мы постараясь показать дальше, трагические вещи, смех сквозь слезы; так всегда было и есть в настоящей сатире.

Сатирики всегда чувствовали себя на Руси неуютно, тяжело было им в так называемую застойную эпоху. Провозглашенные в начале 50-х слова о том, что нам нужны современные Гоголи и Шедрины, отдавали и рапповской самоуверенностью (Л.Авербах: "Нам нужны Шекспиров, и они будут у нас") и обыкновенным пустозвонством. Вскоре они были зло прокомментированы поэтом Ю.Благовым: "... подобнее Шедрины и такие Гоголи, чтобы нас не трогали".

.....

Можно со временем забыть сюжеты песен Галича, даже названия, память не беспредельна, – но никогда не забыть

того высокого потрясения, того нравственного волнения, с которым их слушал.

Сопоставляя Галича с Ю.Трифоновым и В.Шукшиным, наиболее значительными, на мой взгляд, писателями той эпохи, невольно думаешь, что в них все-таки сидел, не мог не сидеть, "внутренний редактор". Они издевались над ним, изгоняли его из себя, об этом, я думаю, мы еще прочтем, когда полностью будут опубликованы их дневники и письма. Галич не печатался и поэтому "гулял вовсю". Он мог лишь с гордым достоинством художника, не поступившегося ни в чем, произнести "«Эрика» берет четыре копии. Вот и все. И этого достаточно». Ох, достаточно ли?... Конечно, в булгаковском смысле – достаточно ("рукописи не горят"). Но можно только с грустью предположить, как же ему хотелось видеть свои вещи напечатанными на Родине, которую он любил глубоко и нежно.

Его главным врагом, излюбленным адресом сатиры была демагогия. Демагогия административная, партийная, бытовая; демагогия как стиль жизни. Здесь ему не было равных. Безжалостно, без эзоповских хитростей он вышелущивал до ядра, обнажал героя и ситуацию, бил по самым больным местам, срывал маски с тех, кого мы видели каждый день на работе, на улице, на демонстрации, "на картошке", на лекции о международном положении. Он показывал их фасад, а потом и нутро: сволочи и ренегаты, антисемиты и доносчики. Не случайно, что в его песнях повторяется мотив обнажения: "вот стою я перед вами, словно голенький", "не стесняясь мужским своим признаком, одевался на праздники призраком". Раздевая их до ниточки, он до ниточки раздел и всю так называемую застойную эпоху, которую, увы, далеко не все тогда воспринимали как застойную.

.....

Перебирая в памяти песни Галича 60-х годов, одну вспоминаешь с особым чувством. "Парамонова" – своего рода песенный пароль той эпохи.

О чем эта песня? Как написали бы в учебнике по литературе: "моральная и нравственная тема". На партийном лексиконе: "морально-бытовое разложение". Говоря проще – история "прелюбодеяния" рядового члена КПСС.

Популярность ее была поистине колоссальной. Думаю, далеко не все знали имя автора, охотно верилось, что это фольклор, народ принял ее, сделал своею. Так же как мало, кто знает, что песня "Среди долины ровныя" написана А.Мерзляковым, а "Не слышно шуму городского" Ф.Глинкой.

В чем причина успеха? Ну, конечно же, в предельной конкретности, узнаваемости героя и ситуации. Это действи-

тельно могло произойти и происходило в каждом городе и в любом селе. Я вспоминаю, что это и история одного преподавателя нашего, который "согрешил" со студенткой. Та появилась к нему на квартиру ночью, как выяснилось потом, на спор со своими подругами. Самое забавное, что жена его тоже "в это время находилась за границей", в турпоездке.

И стоял он на собрании, подобно герою песни, "словно голенький", правда, не кричали ему из зала: "давай все подробности!", но из президиума строго, корректно потребовали: "Просим вас быть предельно искренним и конкретным". Да и результат тот же: "залепили строгача с занесением". Скоро сняли; подумаешь, "аморалка", не политика же...

Мои галичевские пленки давно размагнитились, порвались, но не беда! Удивительное дело, столько лет прошло, а я помню почти все его песни наизусть, каждое слово, поворот интонации, малейший нюанс. Из других бардов куда больше забылось.

Я взял лист бумаги, записал текст и пропел про себя "Парамонову" с "галичевскими интонациями".

Нет, положительно в этой песне есть какой-то секрет. Слишком уж она доступна на первый взгляд, по-фельетонному проста. Я долго думал над этим.

Ну, конечно же, сюжет. В ту эпоху подобное у всех было на виду и на слуху, правда, литература об этом помалкивала. Иногда, правда, очень редко эти сюжеты прорывались на газетные полосы, но их подавали только как досадные исключения, единичные факты, когда "кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет".

И конечно же, забываемо точные бытовые и социальные подробности, из которых, может быть, самая замечательная – рассказ о том, как в перерыве собрания все "бросились в буфет за сардельками", а герой прикидывает: "я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами".

И все-таки этого недостаточно. Тут все дело в виртуозном словесном искусстве Галича, в слове. И более всего – в одном слове. Слово это – *товарищ*.

Вспомним, как оно на все лады повторяется в песне и в нем целый спектр оттенков.

А жена моя, товарищ Парамонова,
в это время находилась за границей.

Почему о жене – официально, с оттенком равнодушия, а может и иронии – "товарищ"? Как много здесь угадывается! И возможное, ставшее уже привычным, равнодушие к женевженщине, которая все на собраниях да заседаниях, и страх перед нею, номенклатурной, и смертная, зеленая тоска этой жизни, и желание, хоть капельки, как поет Вертинский,

"настоящего личного счастья". И невольно возникает тематическая связь с другой номенклатурной женой, Тонькой, "доской стиральной", из другой песни. Может быть, Парамонова тоже – "доска стиральная"? И думаешь о взаимопроникновении тем и сюжетов у Галича и приходишь к выводу, что все его песни – одна песня, и опять вспоминаешь: "человеческая комедия".

"... Ты прости меня, товарищ Парамонова", – на коленях умоляет герой, а певец делает перед этим словом звуковое отточие, паузу, затем максимально нагружает голос теплыми нотками, "давя" на жалость: ведь мы же все-таки, товарищи, ну ладно – не по семье, по партии товарищи, человек человеку – друг, товарищ и брат...

И новый чудесный поворот интонации, включается "общественное", "народное" мнение: "... с аморалкою нам, товарищ дорогой, делать нечего". Как виртуозно тонок этот новый нюанс, новый аспект обесценивания слова! "Товарищ дорогой" звучит здесь примерно, как "друг ситный..."

Замечательно, что в этот хор тут же включается и "героиня романа", предмет мимолетной, торопливой страсти нашего героя: "она думает как раз то же самое" (!). Перепуганная насмерть, она "домой по месту жительства отбыла", отбыла, надо полагать, получив мощный урок лицемерия, готовая, если прикажут, с пеной у рта защищать нашу социалистическую мораль и громить прогнившую западную.

Вывернутая наизнанку нравственность. Двойная мораль. Слово, превращенное сначала в клише, потом в полную свою противоположность. Искверканные, искромсанные отношения между людьми.

И над всем этим витает, во всем постоянно присутствует чисто русский и общечеловеческий смысл слова "товарищ", к нему все время вслед за автором мысленным взором обращается читатель и слушатель:

"Товарищъ – дружка, сверстникъ, ровня в чем-либо; однолетье, помощникъ, сотрудникъ, соучастникъ в чем; собрать. "Родной братъ продать, а товарищи невыдавать!" (В.И.Даль. Толковый словарь живаго великорусскаго языка. Спб, 1882, т. IV, с. 409).

"Товарищ – человек, близкий кому-нибудь по общности взглядов, деятельности, условий жизни и т.п., а также человек, дружески расположенный к кому-нибудь". (С.И.Ожегов. Словарь русского языка., М., 1964, с. 787.).

А "Баллада о прибавочной стоимости"? Позволю себе напомнить сюжетную канву песни. Рассказывается о некоем преподавателе политэкономии в вузе, а может, сотруднике НИИ, правоверном и исполнительном марксисте-догматике.

Запятым по пятам, а не дуриком
Изучал "Капитал" с "Анти-Дюрингом".

Это пелось Галичем в интонации идиотского, напористого энтузиазма.

Совершенно случайно, покручивая радиоприемник, герой слышит свою фамилию и, очевидно, из информации Инюрколлегии узнает, что ему положено богатое наследство от родной тети Калерии в некоей, придуманной Галичем, "афро-американской" стране Фингалии.

И в одно мгновение все переворачивается. Точнее будет сказать: становится на свои места. Еще вчерашний правоверный марксист и строгий моралист, пускается в дикий разгул, с наслаждением расставаясь со своим "статусом". Но главное наслаждение – впереди:

Вот являюсь на службу я в пятницу,
Посылаю начальство я в задницу!

Как это пел Галич! С наслаждением, со вкусом, с растяжкой и без малейшего налета вульгарности. Особенно смачно он произносил слово "начальство", видимо вкладывая в него и личные мотивы: желание послать туда же и собственное начальство, министерское, писательское, киношное, вдоволь потравившее его, изгнавшее из двух творческих союзов, Литфонда и в конце концов из страны. Лишенный возможности расправиться с ними на газетных страницах, он громил их в песне, вероятно, с тем же жгучим наслаждением, с каким Маргарита громила квартиру критика Латунского...

Между тем, вокруг героя – бесовский хоровод: все суют ему деньги, в надежде, что "оттуда" он пришлет, "что будет ненужное".

Дорогой ты наш, бархатный, саржевый,
Ты бери, не стесняйся (пауза!)... одалживай!

Это пелось тоже вразтяжку, но уже совсем по-другому: елейно и вкрадчиво и потому жутковато.

И снова мгновенное переключение: в речи героя, еще не уехавшего "отсюда", проявляются "тамошние" деловые и "коммерческие" нотки. Демагогические одежды слетают мигом и прямо на глазах происходит превращение вчерашнего правоверного марксиста в не менее "правоверного" дельца и предпринимателя: "И вам джерси? И вам?..."

Казалось, можно остановиться и этим достаточно выразительным сатирическим эпизодом завершить песню, уже сказано немало. Но Галичу этого недостаточно! Его фантазия рвется к новым обобщениям и невозможно предсказать полет ее... Герой, включивши вечером программу "Время",

слышит такое... (здесь Галич удивительно похоже имитирует голос теледиктора): "революция в Фингалии, государственные предприятия, банки национализированы, стали народным достоянием" и т.д.

Долгая, долгая пауза.

И возникающий как бы ниоткуда голос человека совершенно обалдевшего, получившего удар пыльным мешком из-за угла, голос как бы с того света; слова отрывисты, отдельные, выговариваются с великим трудом:

Я гляжу на экран как на рвотное –
То есть как это так "все народное"?

И – сразу же – крик-взрыв запоздалой и совершенно бессмысленной энергии, желание что-то доказать, – кому, что?..

Это ж наше, – кричу, – с тетей Калею,
Я ж за этим собрался в Фингалию!!!

И опять долгая пауза, и горькое осознание безнадежной реальности (в том числе и необходимости в понедельник опять явиться на службу).

Нет на свете печальнее повести,
Чем об этой прибавочной стоимости.

Давайте назовем вещи своими именами: "Баллада о прибавочной стоимости" – это гротеск щедринской силы.

.....

Одним из первых (для меня – первым) он запел о лагерях. Как удивительно легко и естественно Галич умел делать так, чтобы его боль незаметно (вот что главное!) становилась твоею болью – высшее искусство!

Он пел чуть надтреснутым голосом в ритме марша:

И не пуля, не штык, не камень,
Нас терзала иная боль:
Мы бессрочными штрафниками
Начинали свой малый бой.
По детдомам, как по штрафбатам,
Что ни сделаем – все вина!
Под запрятым шла штандартом
Необъявленная война.

И этот контраст надтреснутого, вибрирующего от волнения, временами переходящего на крик, голоса с четким маршевым ритмом, так глубоко проникал в душу, что казалось, это ты сам маршируешь, движимый, подгоняемый слабой и, увы, тщетной надеждой: "говорили – до первой крови, оказалось – до самой смерти", а ведь ты ничего толком и не знал-то, не слышал тогда о штрафбатах...

Или чуть раньше, в той же песне: это ты сам, а может быть, рядом с героем ее, тяжело спускаешься по лестнице.

Молча шел, не держась за перила,
Обещанный человек.

Он пел свои знаменитые "Облака"... Как интересно и поучительно было наблюдать за реакцией тех, кто слышал их впервые и ничего не знал о них! Начальная строфа немного сбивала с толку:

Облака плывут, облака,
Не спеша плывут, как в кино...
А я цыпленка ем табака,
Коньячку принял полкило.

Уж слишком точно было калькировано с речи алкоголика это "коньячку полкило", а "табака" смачно растягивалось – "та-ба-ка"! И уже, как бы заранее предвидя смешное, растягивались в улыбке лица. А потом, когда доходило, о чем песня и от чьего имени поется, судорожно стряхивали улыбку с лица. Со мной было то же самое. И напрягались скулы, влажнели глаза.

Он пел медленно, тяжело, хрипловатым, как бы простуженным, точнее застуженным голосом ("...я продрог насквозь, на века"), словами и голосом создавая зримый образ человека, у которого отняты лучшие годы жизни.

А потом уж и совсем "добивал" слушателя – люди не дышали от волнения.

До сих пор в глазах снега наст,
До сих пор в ушах шмона гам...

И после паузы, возвращаясь из воспоминаний в реальность, заканчивал:

Так подайте ж мне ананас,
Коньячку еще двести грамм.

И этот ананас – какая трагическая деталь! Как понятно и как пронзительно-беспомощно это желание наградить себя уже доступными (или – еще доступными?) радостями жизни... Какая уж тут улыбка, комок подступал к горлу.

Как поэт и гражданин, он не мог не возвысить своего голоса против сталинизма и сталинистов. Это песни предупреждения. Галич создает удивительно емкий метафорический образ: по залитой лунным светом площади "чешут гипсовые обрубки", готовые "воссоединиться" в статую генералиссимуса. И рядом с этим гротеском, фантастическим и страшным, другой, сугубо реалистический: "стукачи", объединившиеся в свой "кооператив" (ЖСК "стукачей"!), по вечерам собираются и поют "о Сталине мудром, родном и любимом..."

Мне почему-то кажется, что его скептический ум сатирика предвидел "частичную реабилитацию" Сталина уже в 56-м, после хрущевского доклада, когда все были охвачены радостными надеждами и ожиданиями.

.....

Он очень интересно начинал свои песни. Сразу, без отступлений, без подготовки задавалась интонация, события не только толпились, подгоняя друг друга, но и завязывались в тугую драматический или комический узел.

А ты стучи, стучи, Леха, а тебе бог простит,
А начальнички тебе срок скостят.
А за Окой сейчас коростель свистит,
А у нас на Тайшете ветра свистят.

Сколько сказано! До чего же выразителен этот смысловой, интонационный контраст воли и неволи, усиленный еще и контрастом ритмическим: как "привольно" звукам в строчке "а за Окой сейчас коростель свистит" – Галич пел ее как протяжную лирическую песню. "А у нас на Тайшете ветра свистят" – здесь звуки зажаты так, что и не замечаешь по первому слуху жутковато-домашнего "у нас":

Или забываемое начало "Тоньки":

А что ты Тоньку полюбил, бог с ней, с Тонькою.
Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми,
А что у папы у ее топтун под окнами.

И дальше уже не может остановиться эта женщина, прорывается бабье горе в сарказм, в насмешку, презрение, в сожаление о проданной любви.

А что у папы у ее дача в Павшино,
Холуи да топтуны с секретаршами,
А что у папы у ее пайки цековские
И по праздникам кино с Целиковскою...

И в заключение не удерживается-таки, припечатывает с чисто женским победительным злорадством: "ты ж с доскою будешь спать, со стиральной, за машину ее персональную".

Начало комедии? Или трагедии?..

Бытовые подробности, мелочи жизни, микрокосм Галича, подчас приобретали у него зловещий оттенок, вырастали до символа. И это подготавливалось постепенно, а заявлялось в самом начале.

Первача я взял 0,8, кос-халвы,
Пару "рижского" и керченскую сельдь.
И отправился я в Белые Столбы
На братана да на психа посмотреть.

Вы, конечно, помните, что было дальше?

... Сень, а Сень,
Ты побудь здесь за меня денек-другой!
И по выправке, и по роже мы
Завсегда с собой были схожими,
Тебе ж нет в Москве вдоха-продыха!
Поживи здесь, как в доме отдыха!

Сеня надевает халат "братана-психа", а тот спешит в Москву: "ему выправить надо пенсию"¹.

Заключительные строчки читать страшно:

Тишина на белом свете, тишина...
Я иду и размышляю не спеша:
То ли стать мне президентом США,
То ли взять да и окончить ВПШ.

Страшно потому, что так и останешься в неведении, то ли это Сеня подбирает себе "версию" на "денек-другой", то ли и вправду сходит с ума.

.....
Высшей пробой его мастерства для меня было также и виртуозное использование "чужих", преимущественно классических мотивов и сюжетов в песнях. Здесь, я думаю, он шел за Щедриным, любившим продолжать жизнь типов русской литературы в новых условиях (Глумов из "Мудреца" и Грибоедовский Молчалин в "Современной идиллии"). Галич находил совершенно неожиданные, парадоксальные решения. На "Ночном смотре" (Жуковский) "чешут гипсовые обрубки", в современной забегаловке, где алкаши "рубают водку под супец, шампанское под килечку", появляется Незнакомка. Она и блоковская, и еще больше – галичевская – просто одинокая женщина и ее таинственность проявляется бытовыми деталями: "ах, ей далеко до Сокольников, ах, ей не хватит на такси".

Но самое замечательное, это, пожалуй, трансформация известной гитарной темы Апполона Григорьева. Галич для каждой из "двух гитар" написал свою партию, свою судьбу.

Первая:

Ах, как ты пела смолоду,
Вся – музыка и стать,
Что трудно было голову
С тобой не потерять.

Вторая, "номенклатурная":

Плевать, что стала курвою
И стать – под стать блядам,

¹Как замечательно это словечко "выправить"! Не безличное "оформить", а именно "выправить" то есть добиться права, закона, справедливости. Этот пласт "перевернутой речи" ("достал" – купил, "дают" – продают) еще ждет своего исследователя.

зато номенклатурная,
зато нужна людям!

.....

А что души касается,
Про то забыть пора,
Ну что ж, моя красавица,
Ни пуха, ни пера.

Все это вырастает в серьезный и горький разговор о судьбах, увы, многих и многих...

.....

На занятиях по русской литературе я иногда прошу своих студентов вспомнить крылатые слова из "Горя от ума", "Евгения Онегина", "Ревизора", и с грустью отмечаю, как упал общий уровень подготовки: называют 5-6 афоризмов, не больше.

А ведь может и доживем, что такое задание можно будет дать по Галичу или Высоцкому. Кажется, Наум Коржавин предсказывал, что придет время и песни Галича разойдутся по стране афоризмами, как "Горе от ума". Признаться, поначалу мне показалось это преувеличением. Теперь ясно вижу: нет здесь ни малейшего преувеличения.

Вот только некоторые, по первой памяти: "едут трое, сам в середочке, два жандарма по бокам"; "то есть, как это так – все народное?", "полстраны сидит в кабаках", "твой начальник дал упаковочку, у него приключился инфаркт", а вот и целая строфа: "А у психов жизнь – так бы жил любой, хочешь спать ложись, а хочешь песню пой. Предоставлена им вроде литера; кому от Сталина, кому от Гитлера".

Эти афоризмы радостно подхватывала либерально настроенная интеллигенция, но они как бы сами собою ввинчивались и в заскорузлые, застойные мозги.

Боюсь преувеличений, но все-таки убежден, что Галич сократил на Руси число циников...

Грядущий дотошный историк той эпохи, пытаясь восстановить ее духовный облик, обратится конечно, и к "деревенщикам", к "новомировской" прозе и критике, не сможет пройти и мимо "оголтелого" "Октября" и "антиингилистических романов" В.Кочетова и И.Шевцова, мимо укоренившейся везде усредненной прозы и поэзии. И, конечно, не пройдет он мимо поэзии бардов, песен Галича.

И верится, что он, как и мы встарь, опять включит магнитофон, вздрогнет от радостного смеха, а может, и не сдержит слез, слушая *голос* Галича, голос замечательного певца и настоящего поэта.

.....

...а теперь скорей, скорей, скорей, отпуск проходит, а ведь все это еще и записать надо! И записать хорошо, чисто, а

это ох как непросто! Тут бы надо два "Грюндига" или "Филиппса", да где их взять? Вот и тащишь через всю Москву два магнитофонных чемодана, хорошо еще "Кометы", а то и неподъемные "Тембры". Да еще пленку нужно достать, лучше немецкую. А главное – в спешке не забыть проверить, как записалось. В один мой приезд из Москвы в Южно-Сахалинск собрались вокруг магнитофона человек десять слушать только что привезенную пленку с новыми песнями Юлия Кима. Торжественно нажимаю кнопку и... "Тш-тш-тш-щелк! Тш-тш-тш-щелк!" Перевернули на другую сторону – то же самое. Не записалось! Надо было видеть, как скорбно вытянулись лица... Хоть и утешали меня, неуклюже переводя разговор на другое, настроение безнадежно испортилось, а один малый тут же ушел, в сердцах хлопнув дверью. Потом не разговаривал со мной целую неделю.

...и вот ты уже летишь в самолете, подремываешь и грезишь. Где-нибудь над Иркутском сладко вспомнишь: в чемодане-то много всего... И пленки, пленки... Новые пленки Кима, Галича, Высоцкого, Окуджавы, а еще и мюзикл "Oliver!" Ты еще весь во власти московских впечатлений, не забыть бы последние "новомировские" новости, и рука тынется к записной книжке...

Но главное – в лицах, живых картинах представляешь, как сахалинские друзья будут слушать и тебя, и эти пленки, и простите за высокопарность, чувствуешь себя немного просветителем... И настолько погружаешься в эти грезы, что забываешь обо всем на свете. Так однажды в ночном полете я даже сразу и не понял, что произошло: в салон влетела бледная, как мел, стюардесса и каким-то звонким, свистящим шепотом, на большее видно сил не было, проговорила: "Немедленно наденьте привязные ремни!" В салоне началась паника, заплакали дети, запричитали мамыши, и все это длилось минут десять. Потом она опять вышла и уже ровным голосом объявила, чтоб мы ремни отстегнули. Видно, пронесло...

Как я любил возвращаться в Южно-Сахалинск! Как ждали моего приезда друзья! Первыми приходили обычно трое. Юра К., преподаватель математики в нашем педвузе, меломан и филофонист, каких свет не видывал. Большую часть своей зарплаты он просаживал на пленки и пластинки, буквально дрожал над ними. Я любил над ним подшучивать в стиле "черного юмора": "Юра, а ведь я на пленку с Галичем, что ты вчера слушал, джаз записал – не было другой". В другой раз рассказал ему якобы приснившийся мне сон: все его пленки плавают в ванне, до краев наполненной уксусом... Юра смеялся, но как бы сквозь слезы, и свои

шуточки я вскоре бросил. Тут же прибежал и инженер Вадим У., добрейший малый, на редкость отзывчивый на смешное. Наслаждением было видеть и слышать, как он смеется! Мы жили на первом этаже, и однажды ночью нас с женой разбудил громкий стук в окно. Отдергиваем шторы и – падаем от изумления и смеха. В ослепительном лунном свете прямо у окна стоит белая лошадь, на ней пьяненький Вадюша машет рукой, мол, Димыч, выходи кататься... Где он ее нашел-то... Наверно, растреножил где-нибудь на лугу и ехал через весь город. Совершенно мистическая картина!

Обычно приходил и Б.М., физик-теоретик.

Ах, как я любил возвращаться в Южно-Сахалинск!..

После первых семейных радостей ("Ленка-то моя как выбухала, прямо не узнать!"), после обсуждения всех новостей, московских и сахалинских, институтских и кафедральных, с нетерпеливым удовольствием ждешь, когда заявятся друзья. И вот звонок. Притворно сердито ворчишь, кого еще черт несет, и вот они уже мнутя в коридоре, смущенно улыбаясь и на лицах читаю: "Уж извини, Димыч, надо бы завтра, да никаких сил нет терпеть..." И мы сидим далеко за полночь, иногда до утра, все наговориться не можем и слушаем Кима, Окуджаву, Галича.

В те времена Сахалин буквально кишел галичевскими сюжетами. Тут дело еще в некоторой специфике. Многие здесь жили давно, получая надбавки, имели бешеные деньги, работая с прохладцей, а то и просто валяя дурака, как некоторые преподаватели в нашем пединституте. Немало было и недавних приезжих из столиц, центральной России, эти преимущественно надеялись быстро заработать на кооператив. Были и "нетерпеливые нищие", хотевшие сразу урвать кусок пожирнее, эти пристраивались к "ветеранам", делая быструю карьеру, занимали посты; встречались и любители романтики и т.п.

Мне припомнилось несколько сахалинских историй тех лет, которые вполне могли бы стать сюжетами песен Галича.

Сюжет первый.

В 1963 году в речи "За тесную связь литературы и искусства и жизнью народа" Н.С.Хрущев среди прочего, как известно, сурово осудил художников-"формалистов". По всем городам и весям прокатилась волна обсуждений, было такое собрание и в Южно-Сахалинске. Надо было непременно (как же иначе?) найти и осудить своих, местных формалистов. Да вот незадача, где их взять? На Сахалине в ту пору не то что "художника-формалиста", просто мало-мальски профессионального художника найти было трудно, а тут вынь да положь "формалиста" и поди ведь не одного. Так и не наш-

ли. Весь гнев обрушился на журналиста местной газеты, который незадолго до этого опубликовал сочувственную статью о художнике Красаускасе. Его материал основывался, кстати, на статье в "Известиях", появившейся тоже не так давно. Невинный Стасис Красаускас в воспаленном воображении сахалинских властей был безусловным "формалистом", а местный журналист объявлен адептом и пропагандистом формализма на Сахалине. Бедняга кинулся в обком, дело-то нешуточное, можно не только с работы полететь, но и из партии. Дескать, смотрите, вот и "Известия" о нем хорошо пишут, я-то чем виноват? А ему на это первый секретарь обкома П.А.Леонов: "Что ты мне "Известия" тычешь? Это вообще когда-то был меньшевистский орган..." Выразительный штрих к всемогуществу местной власти.

"Баллада о сахалинском формалисте"? Явно галичевский сюжет.

Сюжет второй.

В середине 60-х, уже после снятия Н.С.Хрущева, на Сахалине побывал А.Н.Косыгин. Местные вожди расстарались вовсю, и длинные банкетные столы были сообразно их фантазии заставлены икорно-балыковыми роскошествами и изысканными винами. Окинув все это взглядом, Косыгин, страдавший язвой, тихо сказал: "Мне ведь этого ничего нельзя. Мне бы овсяной каши". Ситуация... Полетели курьеры – нет нигде в городе овсянки, в пригородах тоже, рассказывали, что в конце концов доставили из района вертолетом.

"Баллада об овсяной каше"?

Сюжет третий.

Чуть позднее Сахалин посетил маршал И.Б. Прославленный военачальник был страстным рыболовом и едва принявши рапорты, отправился на знаменитое озеро Тунайча ловить тайменей. Тут уж местные власти промашки не дали. На дне озера сидел водолаз и насаживал тайменей на маршальские крючки, вынимая их одного за другим из садка. Уже позднее, в Москве, мне рассказывали, что маршал был очень доволен: штук сто поймал!

Ах, какой "вкусный" сюжет для Галича, как бы он разработал его! Он поди написал бы песню как монолог того самого водолаза, а может быть и "маршальского" тайменя? "Баллада о сахалинском водолазе" или "Баллада об ухе из маршальского тайменя"? Кто знает...

Впрочем, что Сахалин... Галичевские сюжеты повсюду окружают всех нас и поныне. Я запомнил, как моя матушка, сталкиваясь в очередной раз с тупостью или бюрократизмом, любила говаривать, как и многие люди ее поколения: "Зощенко бы сюда". Размышляя о недавнем прошлом и

перебирая факты настоящего, невольно восклицаешь: "Галича бы сюда". Как необходим он нам сегодня!

Сюжет первый (недавнее прошлое).

Ю.Черниченко вспоминает: "...четверть миллиарда азартно глядела в телевизоры, переживая не смысл речи, а собьется или осилит до конца". ("Знамя", № 1, 1988, с. 207).

"Баллада о программе "Время"?!"

Сюжет второй.

В "Литературной газете" была напечатана заметка о том, что Шеховцов Иван Тимофеевич подал в суд на писателя А.Адамовича, который, по его мнению, в одном из своих последних интервью оскорбил "честь и достоинство Иосифа Виссарионовича Сталина". И вот теперь он, И.Т.Шеховцов, защищает его.

"Литературная газета" эпически спокойно сообщает, что Дзержинский районный суд г.Москвы определил: "Согласно ст. 7 ГК РСФСР честь и достоинство являются личным немущественным правом гражданина. Действующим законодательством не предусмотрен порядок предъявления исков о защите чести и достоинства других граждан".

На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 1 ст. 129 ГПК РСФСР, народный судья Дзержинского районного суда г. Москвы М.В.Маслова определила: отказать Шеховцову И.Т. в принятии его заявления. ("Литературная газета" 23 декабря 1987 г.).

Ну разве мог бы пройти мимо такого сюжета Александр Аркадьевич Галич? Он, может быть, спел бы о том, как сцементированная из "гипсовых обрубков" фигура генералиссимуса, словно статуя Командора, медленно, гулко и страшно поднимается по лестнице "народного суда Дзержинского района". Шаги все ближе, ближе. Распахиваются двери и... Впрочем, кто знает, что могла бы здесь придумать фантазия поэта!

.....

Я беру свежие номера "Знамени", "Нового мира", "Огонька" – "Собачье сердце", Федор Раскольников, "Котлован", "Доктор Живаго"... А ведь это среди прочего вменялось и нам, В.А., В.К. и мне, преподавателям Южно-Сахалинского пединститута: хранение и распространение "самиздата". Это было после 21 августа 1968 года, когда сахалинская безопасность резко повысила активность...

– Да ведь опубликовано же, опубликовано! – горячо и, увы, наивно, доказывали мы, – вот "Военно-исторический журнал" со статьей о Раскольникове, а вот "Вопросы литературы", где о письме М.Булгакова советскому правительству.

Опубликовано же, опубликовано! А "Новый мир" с "Иваном Денисовичем" и рассказами?!

– Ну, и что ж, что опубликовано? – отвечали нам в партбюро и в комитете госбезопасности. – А кто вас заставлял эту гадость читать? И можете ли вы после этого воспитывать студентов?

И Галич – тоже. Галич вменялся наряду со всем этим. Правда, для "сахалинских товарищей" они все, скопом были "не наши": и Ким, и Галич, и Высоцкий, и Окуджава и даже – ничуть не преувеличиваю – Новелла Матвеева и Михаил Анчаров¹. Это в Москве, мол, пусть разводят антимонии: неудобно назвать Окуджаву "антисоветчиком"², здесь же – вали на всякий случай всех в кучу, все – "не наши". Но Галича все-таки выделяли особенно, послушали, поди, разобрались, что к чему. Галич был не просто "антисоветчиком", а "злым антисоветчиком".

В один осенний вечер 1968 года мы трое встретились, как выяснилось уже потом, в последний раз. Позади было многое: собрание коллектива, единодушно нас осудившее, "волчьи" характеристики на руках, написанные уже заявления "по собственному желанию"... На душе было скверно, и мы решили пойти в кино, чтоб забыться хоть на два часа, помню, шла смешная польская комедия. Вышли из кино, и опять нахлынуло. Сели на лавочку перед кинотеатром, долго молчали. Страшно было, конечно, и не за себя, прежде всего – за семьи, за детей. Впереди у нас, как потом выяснилось, было: В.А. – смерть от страшного недуга в начале 80-х. В.К. – исключение из партии, работа матросом на сейнере (как раз накануне защиты диссертации), мне – "дальняя дорога", долгие и отчаянные мытарства в поисках работы по маршруту Южно-Сахалинск–Магадан–Южно-Сахалинск–Калининград–Москва–Краснодар–Москва–Горький–Москва и наконец – Тамбов, где я обретаюсь и поныне.

Мы сидели и молчали, не переставая, курили. И вдруг В.К. – он всегда вступал в разговор неожиданно и резко – вдруг он произнес:

¹Когда я писал это, случайно включил радио, шла передача "В рабочий полдень", передавали концерт по заявкам любителей "авторской песни". Звучали Никитины, Окуджава, Высоцкий, Новелла Матвеева. Кима и Галича, правда, не было. 12 января 1988 года...

²Впрочем, отчего ж неудобно? "Таким интеллигентам, как Окуджава, Евтушенко и другим, место в Сибири" (Из письма читателя С.Д.Шепелева в "Огонек" – "Огонек", № 44, 1987.). Но все-таки это уже не то... Думаю, и сам С.Д.Шепелев уже не очень-то на это надеется, хотя, как хорошо бы... Мне почему-то вспомнились слова почтмейстера из "Ревизора": "Эх, Антон Антонович, что Сибирь, далеко Сибирь..."

Служил Гаврила в Комитете,
Гаврила дело испекал...

Мы с В.А. поначалу вздрогнули при знакомом имени, вытаращили глаза, а потом благодарно, от души расхохотались.

Гаврила, Гаврила Иванович – это следователь местного ГБ, "наш" следователь... Он действительно "дело испекал", пользуясь случаем, стремительно делал на нас карьеру, зарабатывая полковничье звание...

Конечно же, Ильф и Петров помогли В.К. сказать это. Но и Галич – тоже, Галич, это его "школа", его умение сделать хоть на время смешным зло. Спасибо тебе, В.К. Спасибо и тебе, Александр Аркадьевич!

.....

"Когда я вернусь" – так назвал Галич одну из самых задушевных и горьких своих песен. Ему не суждено было вернуться, но песни его – они как бы и "не уезжали". У него же была "трудная и, наверное, несчастливая жизнь эмигранта" (Ю.Ким. "Советская молодежь", № 12, 1987, с. 7).

Уже в 80-е годы мне довелось слышать изданную на Западе пластинку его песен. Он пел под какой-то странный оркестр, немного цыганский, немного ресторанный, и удивительное дело, мне впервые показалось, что Галич не звучит! Не звучит "под это". И даже знаменитая "Тонька" и "Парамонова", выдернутые из контекста эпохи, страны, своего слушателя, прозвучали даже чуть сентиментально. Это Галич-то! Я слышал, что его концерты проходили на Западе с успехом, но, наверно, все-таки его песням было неуютно в парижской "Олимпии".

Галич – неотъемлемая часть духовной культуры нашей страны. Он – поздняя юность нашего поколения, наша зрелость, наш первый гражданский и социальный опыт. Он насущно необходим и нам, пятидесятникам и шестидесятиникам, и еще более – детям и внукам нашим.

... Декабрьским вечером 1977 года я уже задремывал, слушая последние известия по "Би-би-си". Вдруг что-то щелкнуло, диктор замолк на полуслове и после паузы прозвучало: "Передаем только что полученное сообщение. Сегодня в своей парижской квартире погиб поэт и бард Александр Галич".

В первое мгновение я как бы застыл, а потом вдруг промелькнула странная, шальная, безумная надежда: и этот убийца, звуковой комбайн "Грюндиг", пронзивший поэта смертельным током, и это сообщение, что если это еще один из его сюжетов, пусть трагичных, но сюжетов, и не с ним произошло, а с героем, сейчас объявят...

Но снова прозвучало безжалостно: "Умер Александр Галич", и я невольно вскрикнул от боли и ужаса.

Потом долго, долго, до самого утра сидел, вспоминая все, о чем рассказано выше.

И снова звучал его *Голос...*

1988 г.

"СКВОЗЬ ГОДЫ МЧАСЬ..."

(Краткая история моего восприятия творчества Маяковского)

Однажды я поймал себя на мысли, что уже давно не перечитываю Маяковского и редко думаю о нем¹.

Толстого, Чехова, Бунина, Булгакова, Ахматову, Пастернака, Шукшина перечитываю постоянно. А Маяковского – и не тянет!

Мне захотелось разобраться в этом, так возникли эти заметки. Они субъективны и не претендуют на многое. Это краткая история моего восприятия его поэзии на разных этапах жизни. Так естественно определилась их структура: 1. Детство и отрочество. 2. Юность. 3. Взрослость.

ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО

Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.

И.В.Сталин

Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине.

Б.Л.Пастернак

Своих самых ранних впечатлений от поэзии Маяковского я почти не помню, возможно, их и не было. Может быть, потому, что мои родители – мать (врач) и отец (инженер), как я узнал позднее, Маяковского не любили и в доме нашем не было его книг.

Первая книга Маяковского, которую я взял в руки, был известный однотомник 1941 года, огромный томище с фотографиями, рисунками и, как я теперь понимаю, совсем недурной по тем временам вступительной статьей В.О.Перцова. Видно, однотомник появился в нашем доме по необходимости: поэта предстояло "проходить" в школе.

¹Очерк написан в 1985–1986 гг.

Эта книга сильно заинтересовала меня, правда, признаться, не столько поэзией, сколько "картинками", особенно фотографиями: Маяковский в Мексике, Маяковский в Париже, Маяковский с собакой... Поражали и рисунки, эскизы декораций к "Мистерии-Буфф". Пробовал читать и стихи, причем, все подряд, и тут же бросил: почти ничего не понял. И сразу же охватило чисто детское ощущение непонятного: раз непонятно, значит – "мура", "мура какая-то". И Маяковский был заброшен.

Впрочем, тогда стихи мы вообще читали мало, думали о них еще меньше, разве что на уроках литературы. Если предположить, что какой-нибудь пацан сказал бы в то время: а я недавно интересное стихотворение прочел... или, не дай бог, прочел бы его вслух – задразнили, засмеяли, затравили бы! Приклеили бы клечку, так что лучше помалкивать. Возможно, девочки и читали стихи, переписывали их в тетради и альбомы, но мы – какая там поэзия! Жюль Верн и Майн Рид, повести Шпанова ("Тайна профессора Бураго"), "Зеленые цепочки" Матвеева и еще что-нибудь в этом роде – вот наше чтение! Поэзии почти не было места в наших душах, и странно это как-то – читать стихи, когда можно было перечесть (в который раз!) "Гиперболоид инженера Гарина" или "Человека-амфибию". Стихи шли как бы мимо нашего сознания.

Надо сказать, что мое детство прошло в небольшом городке Моршанске Тамбовской области, куда наше семейство эвакуировалось из Белоруссии – уехали чуть ли не с последним эшеленом. До Моршанска война не дошла, но ощущалась во всем – от наших игр до родительских забот и тревог.

Однако вернемся к Маяковскому. Надо полагать, что его детские стихи я все-таки где-то чуть позже прочел или по радио слышал. Но они не задерживались в памяти, видимо, потому что это были стихи пионерские.

Удивительно, но факт: фальшь "пионерии" в пионерском возрасте обнаружилась для нас куда быстрее, чем фальшь "комсомолии" в возрасте комсомольском. Скука и казенщина пионерских сборов, чтение докладов по бумажке, парадная и наивная символика, – мы инстинктивно от всего этого отмахивались ("все это буза!"), наши мысли были на улице. Там – футбол и свои "военные игры", совсем не такие, как "игры в войну" в наше время. Впрочем, теперь и это умудрились оканзнить – "Зарница"!

От пионерского лагеря тех лет осталось самое мрачное воспоминание. В 42-м после гибели под Сталинградом отца, когда стало особенно голодно, матушка сама отвезла меня в лагерь. Кормежка там была еще скуднее, чем дома, все

уныло слонялись по территории в ожидании завтрака, обеда и ужина. Из лагеря я убежал, как добрался до дома, уже не помню.

Наши игры были максимально приближены к жизни: мы пробирались на стрельбище, военный полигон, собирали стреляные гильзы, иногда попадались и целые патроны. Один пацан ухитрился притащить домой настоящий артиллерийский снаряд... Слава богу, старшие утопили его в уборной во дворе, он, возможно, до сих пор лежит в земле.

На стрельбище было опасно, могли подстрелить, бывало и подстреливали. Моего соседа, Колю Богатого, прошили очередью насмерть. Правда, не на стрельбище, а на аэродроме: он умудрился залезть в самолет, что-то отвинтить там, наверное, клапана с карбидом, ими мы глушили рыбу и лягушек.

Мы возвращались в школу и на пионерском сборе слышали:

Возьмем винтовки новые
на штык флажки!
И с песнею

в стрелковые
пойдем кружки.

Раз,
два!

Все
в ряд,

впе-
ред,

от-
ряд.

Все – мимо жизни, все – чужое, все – "буза"!

Детское сознание не могло, конечно, подняться до "историзма": мол, в 20-е годы это так и было, серьезно и хорошо. "Пионерский" пафос детских стихов Маяковского отвергался сугубо прагматически: в жизни, в нашей школе, в пионерском лагере, на улице – совсем не так! И все это летело мимо ушей.

Инженеру хорошо,
а доктору –

лучше,
я б детей лечить пошел,
пусть меня научат.

Я приеду к Пете,
я приеду к Поле,
Здравствуйте, дети!
Кто у вас болен?

А на улице мы горланили:

Мама, я доктора люблю! Да-да!

Мама, за доктора пойду.
Доктор делает аборт,
Посылает на курорты
И за это я его люблю! Да-да!

Помню, как пришел к нам в первый раз пионервожатый
Леня Полубояринов. Мы, маленькие мерзавцы (5-й класс!)
встретили его хоровой декламацией:

Полу-татарин, полу-боярин,
полу-купец, полу-подлец!
Но есть надежда, наш отец,
что будешь полным наконец!

Он преспокойно выслушал эту ахиною и вдруг, вот уж не
ожидали, от души расхохотался. Оказался он отличным
парнем, за ним потом весь класс по пятам ходил. Не сразу,
правда, он послал к чертям всю пионерскую символику и
ритуальность. По наитию, наверное, да и по необходимости
тоже: ребят он любил, а как с нами справиться иначе? Он
просто много знал, все время что-то рассказывал, ходил с
нами в лес, играл в футбол – чего же еще?

А ведь и он, помнится, пытался нам читать детские
стихи Маяковского и тоже абсолютно безуспешно. Трудно
понять, зачем ему это понадобилось, может быть, они входили
в официальную программу этих пионерских сборов или
просто хотел обыграть их юмор? Во всяком случае, это ему не
удалось.

Этой книжечки слова
и рисунков наброски
сделал

дядя Маяковский.

– А чего это он, – мой сосед по парте, Ваня Клейменов,
толкает меня в бок, – чего он (то есть Маяковский) *хвалится*?

Ах, умница ты, Ваня Клейменов! Именно. Это ж замечательно – “хвалится”. Как говорится, устами младенца...

Обратимся теперь к комсомольской поре. Комсомол –
совсем другое дело, чем “пионерия”, особенно прием, вступление.
Хотите верьте, хотите нет, боялись, искренне переживали,
примут ли? У принятых (принимали в райкоме не
скопом, а по трое в день) выпрашивали дотошно и горячо, о
чем там беседуют, кто, как, какие они? Тут, вероятно, примешивался и мотив первой зрелости, а комсомол по нашим
тогдашним понятиям был первым и важным шагом к ней.

Потом все это прошло и строго дифференцировалось. У
большинства – опять равнодушие, ритуальность (взносы,
собрания, субботники и пр.). Иные откровенно строили на
комсомоле свою карьеру, а некоторые чуть не до седых волос
тащили воз и над ними посмеивались, как над “чокнутыми”.

Так вот, первое мое "столкновение" с Маяковским в школьном изучении как раз и пало на этот ранний комсомольский возраст.

Вынесенные в эпиграф слова Б.Л. Пастернака многозначны. Дело не только в том, что "лучший и талантливейший" был тогда недосыгаемым идеалом, на которого равнялись, к которому подтягивались. К нему и "подтягивали": в творчестве каждого официально признанного советского поэта непременно должны быть традиции Маяковского, влияние его поэтики. И вот уже такой серьезный исследователь, как Л.И.Тимофеев, то ли проклиная судьбу, то ли выполняя социальный заказ, начинает выискивать эти традиции у Исаковского и Твардовского, Рыленкова и Щипачева, и все это "научно", "академично", с использованием статистического метода при анализе ритмики и т.д. Творческая индивидуальность поэтов почти не бралась в расчет и, главное, куда им до идеала, как бы ни старались, все равно "лучший, талантливейший" один¹.

Но и это не все. "Картофель при Екатерине" – это еще и "насильственное", иного слова не подберешь, изучение Маяковского в школе, в особенности первоначальное изучение в 7-м классе. Здесь необходимы два предварительных пояснения.

1. До конца 20-х годов школьные программы вообще обходились без Маяковского, хотя в них значились и Блок, и Брюсов и даже Бальмонт (!), Демьян Бедный, крестьянские поэты, пролетарские поэты, Уитмен, Верхарн – кого там только не было! Маяковский же составителями этих прог-

¹Малейшие сомнения в этой незыблемой доктрине немедленно пресекались с той твердостью, как, допустим, сомнения в мичуринско-лысенковской биологии: разгромной статьей в газете или, как тогда было популярно, карикатурой в "Крокодиле".

Хорошо помню одну такую карикатуру, связанную с Маяковским. В верхнем углу ее была надпись: "Литературовед А.Белодед в своей книге "Маяковский и украинская советская поэзия" утверждает, что А.Малышко в своих языковых исканиях пошел дальше Маяковского".

Карикатура изображала следующее: сидящий в вагоне метро Маяковский в "широких штанинах", взгляд суровый и гневный, а над ним, держась за поручень, стоит какая-то унылая личность в академической шапочке с лицом одновременно и жалким и злобным, так рисовали тогда Тито, Франко и космополитов. Другой рукой этот человек крепко прижимал к себе запеленутого как младенца поэта А.Малышко, из пеленок выглядывало его взрослое лицо... "Личность" просит Маяковского: "Владимир Владимирович, уступите место, у меня... Малышко".

Не сомневаюсь, что за этой карикатурой последовали суровые меры к А.Белодеду.

рамм, очевидно, брался под сомнение как "футурист"¹. А ведь именно в это время (начало и середина 20-х годов) заканчивали педагогические и учительские институты наши школьные учителя.

2. В первые послевоенные годы, во всяком случае в нашей школе, молодые учителя попадались редко, большинство – уже в летах. Они все или почти все были местными, еще до революции окончили классическую гимназию, многие с медалью, и это неизбежно проявлялось в их некоторой чинности, чопорности, консерватизме. Но предмет свой знали блестяще.

Так, химичка наша, Анна Васильевна Мишина, приходила всегда на урок закутавшись в огромную белую шаль, никогда не повышала голоса и всем говорила: "Вы", "Ея", "у Нея". Ее побаивались, но и уважали: по химии не было ни одного провала при поступлении в вузы.

Наша словесница, Александра Дмитриевна Петрова, на первый взгляд, ей полная противоположность: проста, демократична, жила с нами душа в душу и все про нас знала. У нее было какое-то удивительное, вероятно крестьянское, чувство юмора. Любую литературу она всегда как бы проверяла жизнью, прежде всего – окружающей жизнью, нашей, моршанской, в примерах нам знакомых и близких, и в этом, как я сейчас понимаю, не было никакой профанации, скорее наоборот – мы учились и литературе и жизни.

Часто вспоминаю, как виртуозно показала она нам, что такое "Кавалер Золотой Звезды". Роман только что вышел и сразу стал "классикой", а вскоре появилась и экранизация. А.Д. произнесла на уроке несколько вступительных фраз, все это было по газетам, суконно и скучно, и мы недоумевали, почему она, всегда энергичная и живая, говорит так казенно и вяло. Потом до нас дошло, что тоном этим – казенно-панегирическим – она как бы "подмигивала" нам, посмеивалась... Мы ничего не понимали: роман нам нравился, фильм – тоже, успели посмотреть, тогда новые фильмы были в редкость. Тут-то она и устроила "проверку" Бабаевского нашей моршанской жизнью.

¹Вспомним известные строки из "Юбилейного":

Дорогойченко,
Герасимов,
Кириллов,
Родов –
какой
однаобразный
пейзаж!

Здесь ведь не только ирония, но и горечь, обида: все перечисленные здесь поэты были в школьной программе!

В романе и в фильме был выведен один старичок, сделанный, видно, немного под Щукаря, но уже в другую эпоху, этакий "в коммунизм идущий дед". "Как наш школьный сторож, – лукавила она, – навроде него". Мы его каждый день видели, любили слушать его трепотню, пока он был еще не бухой (в конце концов он так и сгинул от пьянства). Ни в какой коммунизм он, конечно, не "шел". Такое "снижение" хоть и постепенно, но безотказно действовало. Много лет спустя я напомнил ей и про "Кавалера", и про этого деда. "Да что ж, Митюша, – рассмеялась она, – вранье ведь, вранье..."

Моя матушка, ее подруга по гимназии, рассказывала, что А.Д. верила в бога и тайком ходила в церковь. Надо полагать, не она одна, ходили и другие учителя, и поэтому видно, боясь скандала, начальство смотрело на это сквозь пальцы. Уже позже она крестила своих внуков "на дому" с монашками и батюшкой. Можно себе представить, как она воспринимала стихотворение Маяковского "Шесть монахинь"...

Так вот, именно Александра Дмитриевна Петрова и начала с нами изучать поэзию Маяковского: стихотворение "Комсомольская", 7 класс. Было маленькое вступительное слово, вероятно, такое же иронично-казенное, потом чтение текста. И мы услышали:

Строит,
 рушит,
 кроит
 и рвет,
 тихнет,
 кипит
 и пенится,
 гудит,
 говорит,
 говорит,
 и ревет –
 юная армия:
 ленинцы.
 Мы
 новая кровь
 городских жил,
 тело нив,
 ткацкой идеи
 нить.
 Ленин –
 жил,
 Ленин –
 жив,
 Ленин –
 будет жить.

Наше недоумение росло по мере чтения. Непонятно! Что это такое – "новая кровь городских жил"? Что за "жилы" такие и почему они "городские"? Как это – "тело нив" и "ткацкой идеи нить"? И что это за разболтанный, не привычный ни глазу, ни слуху ритм? Во всем стихотворении единственно живыми для нас были строчки рефрена.

А.Д. читала дальше:

Ленин ведь
тоже
начал с азов —
жизнь —
мастерская геньина.
С низа лет,
с класса низов
рвись —
разгромаздиться в Ленина!
Дрожите, дворцов этажи!
Биржа нажив,
будешь,
битая выть
Ленин —
жил..',
и т.д.

Класс загудел... Мы ведь ничего еще толком не знали ни о метафоре, ни о гиперболе, ни о ритмике, не только Маяковского, вообще поэзии. Но в своем эмоциональном протесте мы были абсолютно правы: это не поэзия, а если и стихи, то дурные, холодные, сделанные. И правда, это стихотворение и ныне читаешь с тем же чувством: оно действительно холодное, торопливое, не отработанное. Словотворчество явно неконтактно, неудачно: "жизнь – мастерская генина" – что за безобразие!?

В какую, интересно, министерскую головушку втемяшилось это: включить "Комсомольскую" в школьную программу и именно ею начать изучение Маяковского? Почему не "Разговор с товарищем Лениным"? Вероятно, выбирали по принципу "наибольшей" идейности: комсомол, бессмертие Ленина, партия и т. д.

Класс гудел... Витя Марков, пользуясь демократизмом наших отношений с А.Д., спросил ее напрямую: "А вам-то нравится?" Она невольно пожала плечами, и мы сразу поняли: нет, не нравится, чему тут нравиться-то... Потом произнесла несколько обязательных фраз об идейности и воспитательном значении, начался разбор стихотворения по вопросам и, может быть, впервые урок литературы прошел скучно, скорее бы звонок...

Витя Марков все-таки подытожил: "А по-моему, Пушкин лучше!" И дословно повторил неизвестную тогда никому

ленинскую фразу из беседы со студентами ВХУТЕМАСа, беседу опубликуют много позднее. Смело могу утверждать, что Маяковский-поэт был вычеркнут тогда из моего сознания, а возникший рефлекс непонятности действовал еще несколько лет, для иных – всю жизнь.

Дело, наверное, не только в этом стихотворении. Думаю, что если б наша А.Д. хоть немножко любила Маяковского, она смогла бы и "Комсомольскую" как-нибудь *подать* или хотя бы отодвинуть ее в тень, переключиться на другое, на тот же "Разговор с товарищем Лениным". Правда, это была бы уже программа старших классов, но наши учителя так делали, и А.Д. тоже, например, с Пушкиным. Мы изучали его шире, чем в программе, а потом в старших классах многие стихи нам были уже знакомы и закреплялись лучше, начиналась нюансировка. То же самое легко можно было бы сделать с Маяковским. Да и проще – интересно рассказать о нем самом. Так, наверно, и делалось во многих школах, особенно в столичных, но не в нашей. А.Д. видно не только не любила его стихи, Маяковский был непереносим для нее как "атеист" и "богохульник".

Понятно, что дело не только в школе. В то время о поэте нам и почитать-то в сущности было нечего, одни популярные брошюры. В моршанских библиотеках не было и не могло быть изданий 20–30-х годов, тем более дореволюционных, если и были когда-то, их давно уже списали и выбросили. Странно подумать, но о "лучшем, талантливейшем" не было еще ни одной монографии! Известная книга В.О.Перцова появилась несколькими годами позже.

Но случилось так, что в старших классах мы попали в руки Нины Константиновны Мочалкиной. По сравнению с ней, наша А.Д. была, пожалуй, попроще. Родовая дворянка, окончившая Бестужевские курсы, она была во Франции и свободно владела французским. Литературные бои 20-х годов каким-то образом зацепили и ее. Маяковского она видела и слышала, а еще Есенина, Горького, Алексея Толстого. Рассказывала обо всем этом живо, просто, наглядно: "А вечером мы побежали в Политехнический слушать Маяковского". О себе говорила всегда скупو, сдержанно, но надо думать, биографию ее не назовешь обычной: родовая дворянка доживала век свой ветераном партии, помню и прическа у нее была, как у Стасовой или Фотиевой.

И Маяковский *пошел!* Не сразу, со скрипом, но пошел. Возник интерес, сначала – историко-литературный, потом уже и к стихам, к поэзии непосредственно. Она, умница, давала нам готовить доклады, иногда им отводился целый урок. Мы рылись в ее библиотеке. Жила Н.К. одиноко и

наверняка всю свою скудную зарплату тратила на книги. Библиотека, как я теперь понимаю, была у нее совсем недурная. Особенно поразила меня огромная, чуть не в полметра монография Яремича о Врубеле, художнике нам совсем незнакомом, а официально преданном анафеме за модернизм. Были у нее и многотомный довоенный Маяковский, сборники Асеева, Хлебникова, Каменского, старые журналы. Сейчас подумалось, что не было ни Есенина, ни Ахматовой, ни тем более – Гумилева и Мандельштама. Наверно все-таки и побаивалась нас немного: авторы-то в то время запрещенные. А может быть, просто не любила их, не знаю. Но Пастернак на полке стоял. "Рано еще, рано", – сказала она и мягко отобрала у меня его сборник, поставила на место.

Что же нравилось тогда в Маяковском в преддверии студенчества, в 10-м классе? Непросто сейчас ответить на это, но попробую. Все нравилось! Необычность всего – роста, голоса, поэзии, биографии, эта необычность и поражала прежде всего наше воображение. Многое, конечно, в нем оставалось непонятным, это был лишь первый шаг к пику моего читательского восприятия поэта, влюбленности в него – к началу 50-х, к первым студенческим годам.

ЮНОСТЬ

Если человек нашего поколения (старшие не в счет) не бродил в свое время в течение недели, взасос твердя строки из "Облака в штанах", с ним не стоит говорить о литературе.

Н.Долинина

Вспоминая эти годы, не устаю поражаться, какое огромное место занимал Маяковский, поэт и человек, в моей жизни и жизни моих друзей. Н.Долинина ни капельки не преувеличивает.

Впрочем, тут необходимо небольшое отступление.

Моя студенческая судьба сложилась своеобразно. Я поступил на библиотечный факультет МГБИ им. В.М.Молотова (ныне Московский институт культуры). Это страшно было выговорить в Моршанске, так как все мои одноклассники разлетелись по разным МЭИ, МАИ, МИСИ, МВТУ – вузам солидным, техническим, престижным, и гордились этим. А тут всего лишь МГБИ, только что Москва, и какой-то библиотечный факультет, разве это дело для парня? В таком городишке, как наш Моршанск, где все про всех знали, все были на виду, эта престижность много значила не только

для нас, но и для родителей наших. Не раз ловил я на себе усмешливые взгляды: дескать по математике-то всегда слабак был (и правда!), а по "трепологии" (история, литература) – ничего... Первые два года вообще избегал этих встреч, не ходил на традиционные вечера выпускников, в нашей школе они проходили торжественно, а как хотелось!

Дело, конечно, не только в паническом страхе перед математикой и отвращении к ней, было здесь и какое-то едва ли осознанное, смутное влечение к литературе, к книге, может быть, журналистике. Что такое МГБИ, библиотечный факультет, рисовалось в высшей степени неопределенно.

Я приехал из Моршанска законченным провинциалом по привычкам, образу жизни, одежде тоже. Часто вспоминалось потом, как провожала меня в Москву, матушка ворвалась в вагон (поезда тогда еще брались штурмом, на нумерацию мест не обращали внимания и никаких плацкарт не было) – первым делом заглянула под скамью, есть ли перегородка, бывали сиденья и без них, тогда чемодан мог спокойно "уплыть", не доехавши до столицы. Своего общежития в МГБИ тогда не было, и нас поселили прямо в учебном корпусе рядом с аудиториями по 30 человек в комнате. Вот это была комната! В нее входили и выходили, включали свет, гасили его, смеялись, пели, рассказывали анекдоты, звучала речь рязанская, вятская, сибирская; акали, окали, дзекали, и днем и ночью все это сливалось в сплошной вокзальный гул и так все два года, что я провел в МГБИ.

Старшекурсники держались обособленно, кланом, разве что снисходили до какой-нибудь смазливой первокурсницы. В них угадывались будущие знаменитости. И действительно, в МГБИ тогда учились Ф.Искандер, Е.Динерштейн, И.Роднянская и другие. Но это исключения, основная же масса студенчества – "от Москвы до самых до окраин", причем, "от окраин" – Севера, Сибири, Средней Азии, сельской провинции было неизмеримо больше, чем "от Москвы". Из национальных республик зачисляли чуть ли не автоматически, многие едва знали русский язык, впрочем, и некоторых русских понять было не легче. Один выпускник кульпросветучилища изъяснялся на таком вятском диалекте, что педагоги приходили в отчаяние.

Кафедра литературы тогдашнего МГБИ – чудо! На ее заседания охотно ходили студенты, и это приветствовалось. Сами заседания мало походили на те, что довелось мне видеть в МГПИ им. В.И.Ленина, куда я перевелся через два года. Это были бурные обсуждения рукописей преподавателей, дискуссии, во время которых попадало в общепризнанным авторитетам. Вопросы поднимались непременно

глобальные и тогда большей частью неразрешимые. Вряд ли с кафедральной трибуны говорилась какая-нибудь "крамола", время-то было крутое. "Крамолой", как я сейчас понимаю, была сама эта форма свободной дискуссии и живое, трепетное отношение к литературе, которое неизбежно передавалось и нам, студентам. Я с удовольствием ходил на эти заседания и именно здесь впервые почувствовал и понял, что такое искусство полемики. Потом довелось видеть множество дискуссий и обсуждений, в иных и самому участвовать, но эти первые **врезались** в память с особой отчетливостью.

В этой кафедре вообще было что-то необычное, какой-то блеск, даже шарм, все делалось как бы играючи и одновременно серьезно и основательно, о лекциях я уж не говорю: литература была самым любимым предметом в МГБИ. Но самое главное, повторяю, было в этом трепетном, прямо-таки восторженном отношении к литературе, и это распространялось на всех – от заведующего Н.А.Трифонов, внешне суховатого (хотя будь я постарше, легко мог бы разглядеть за всем этим темперамент бойца-полемиста) и до лаборанта И.Я.Лаута, который своими знаниями, остроумием, парадоксами мог бы заткнуть за пояс не одного кандидата наук. Вообще в МГБИ тех лет царил культ лекции и лектора. Незабываемо интересно читалась античная история (проф. Старков), Средние века (Левандовский), старшекурсники могли послушать самого В.Ф.Асмуса и патриарха нашей историографии Н.Л.Рубинштейна. Все это создавало атмосферу познания для тех, кто к этому стремился.

Но – ближе к теме, к Маяковскому. Однажды я увидел в расписании рядом с нашими скучнейшими "библиографией", "историей книги", непременно "Историей КПСС" название нового предмета – "Введение в литературоведение". Для недавнего школьника мудреными были оба эти слова, а уж в сочетании тем более. И вот в положенное время распахнулась дверь, и стремительно, размашистым шагом в нее чуть не влетел высокий и стройный человек с туго набитым портфелем, который он тут же бросил на стол – по аудитории прокатился небольшой грохот, быстро окинул нас острым, оценивающим взглядом из-под очков-пенсне с позолоченными дужками, такие были тогда в моде, откинул назад гриву чуть поседевших волос, объявил тему и начал...

...начал читать стихи. Это было неожиданно. Пожалуй, даже больше, чем неожиданно, ведь каждый наш лектор тогда непременно начинал с разъяснения основополагающего значения для его предмета работы "Марксизм и вопросы языкознания". Тогда мне случайно попался в руки учебник "Автомобили", изданный в начале 50-х, в предисловии к

нему – о том же... Помню, что на втором часу лекции упоминалась и сталинская работа, как не сказать о ней, но начало-то было за стихами... Так появился в моей жизни Михаил Павлович Еремин. Сейчас смело могу сказать, что лекторов такого уровня мне потом почти не довелось слышать. Ну, может быть, Сергей Михайлович Бонди, которого я, учась в МГПИ, специально ездил слушать в МГУ или Борис Иванович Пуришев, читавший зарубежную литературу Средних веков и Возрождения. Но они в своем, ином роде.

Итак, почему же стихи? Было в этом, вероятно, и вполне объяснимое желание поскорее повысить наш поэтический "ликбезный" уровень, но и нечто большее: "Вы, возможно, читаете стихи, интересуетесь поэзией, а то ли вы знаете и читаете? Понимаете ли, чувствуете слово в стихе?" Чтение было прекрасным, артистичным, казалось, несколько отрешенным от всего, кроме стихов, от нас тоже. Как бы впервые читал он нам Блока, Пастернака, Твардовского. Было у М.П.непременное условие: прочтет стихотворение, выдержит необходимую паузу и обязательно спросит: кто это? что это? Чаще всего в аудитории повисала тягостная тишина, но если узнавали, от души радовался вместе с нами.

Потом он читал нам XIX век, первую половину, и я, наверное, впервые начал понимать, что такое слово в стихе, деталь в рассказе; как неоднозначны, парадоксальны и современны классики. Позднее М.П. перешел в Литературный институт, может быть, ему стало "тесно" в МГБИ, как музыканту-виртуозу в музыкальном училище, а скорее всего его просто банально "ушли" за независимый нрав. Студенты потеряли любимого преподавателя, но начальство это мало волновало.

Сошлюсь на свидетельство еще одного его благодарного слушателя уже в другие времена – студента Литературного института, будущего поэта Юрия Кузнецова. Оно полностью совпадает и с моим впечатлением. "Русский девятнадцатый век вел М.П.Еремин... Чеховское ружье (разумею, реализм) вертел так и этак: и цевье, и курки, и деталь, и идея. Еремин снимал очки, протирал их, близоруко щурился и, забыв их надеть, цитировал:

Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден...

– Хоть! Вот что такое "хоть". – Он сжимал губы и словно произносил: пшик! – А какая разная мера для блага и славы! Видите? Видите?

И все видели. Так он учил мыслить. И, конечно, умению читать"¹.

¹"Литературная учеба", 1982, № 4, с. 222.

Ах, как замечательно это "видите" ! Мы тоже старались "видеть" и через это мыслить. Мыслить литературой, что не менее, если не более дорого, чем чисто эстетическое впечатление.

М.П. любил, чтоб его спрашивали, не обижался даже, если перебивали вопросом на лекции. Я не решался, хотя вопросов скопилось множество. Как-то на занятиях он разговорился с современным театре, эти отступления стали обычными, и ошарашил нас таким заявлением: вот недавно пьесу видел, уж лучше бы сходил на футбол, там, по крайней мере, до конца неясен результат, а здесь – с самого начала.

В перерыве я все-таки не вытерпел, подошел к нему.

– Михаил Павлович, если не секрет, какую пьесу вы смотрели?

Он опять сверкнул очками, потом снял их, окинул меня своим пронизывающим взглядом.

– Какая пьеса-то? – Помолчал. – Ну, скажем, "Рассвет над Москвой".

Я закусил губу, чтоб не расхохотаться: не дай бог, сочтет за невежливость, высмеет. Это случалось, хотя студентов он любил, "подпускал к себе", но фамильярность ненавидел, бывал и беспощаден, особенно к столичным модницам, "фифам", как их тогда называли или к спортсменам-разрядникам, которые по этой причине редко заглядывали в учебник.

А дело в том, что я сам недавно видел эту пьесу, увенчанную сталинскими лаврами, в театре Моссовета у Завадского. Не стану преувеличивать, вряд ли я тогда понял, как это плохо и почему плохо, какое там! Это скорее даже нравилось, особенно актеры, в спектакле был занят весь цвет театра. А смеялся я вот почему: в финальной патетической сцене, когда все устремили взор на свет в кремлевском окне ("не гаснет!"), случилась невероятная накладка. У актера, игравшего мастера-передовика, съехал набок парик из смолисто-черных волос и показалась обширная лысина. Он так и играл до конца эпизода, куда денешься? В зале сдержанно засмеялись, а я буквально вспотел от смеха. Думаю, это было не только смешно: молодая душа интуитивно почувствовала здесь нечто символическое, обнажившее фальшь происходящего на сцене. Сейчас я сказал бы: это булгаковский Золотой конь не выдержал, сдвинул, сбил парик своим копытом...

Я рискнул рассказать М.П. об этом случае, и он к неопикуемой радости моей расхохотался от всей души. И я невольно вспомнил нашу Александру Дмитриевну Петрову. Ее "прочтение" Бабаевского и "отступления" М.П. были, видимо, из одного источника, только у него, конечно, ярче, вир-

туознее, смелее. Поэтому я и сейчас отдаю предпочтение М.П. даже перед блистательными Бонди и Пуришевым. В Еремине помимо влюбленности в предмет и ослепительно яркой передачи этой влюбленности была еще какая-то близкая мне социальность, демократизм в самом высоком смысле слова, они объединяли литературу и жизнь, классику и современность.

Каких поэтов он читал на лекциях? Отчетливо помню, что Блока, Пастернака ("Стихи из романа"), Твардовского, естественно, Пушкина. Не забуду, как однажды он прочел в интонации какого-то мстительного злорадства:

Роман заранее напишут,
Приедут, пылью той подышат,
Потычут палочкой в бетон,
Сверяя с жизнью первый том...

А.Твардовский

В этой интонации "заранее" выделялось незабываемо-ядовито.

– Ну и что? Подумаешь, смелость! – скажет современный студент. – Что особенного? Легко сказать! Найдись какой-нибудь подонок и "сформулируй" он внятно, что, мол, подбор цитируемых авторов тенденциозен, над сталинским лауреатом иронизирует, затем познакомь со всем этим, допустим, партбюро, еще неизвестно, чем бы это кончилось в те тяжелые времена. Вспоминаю, как буквально истерзали нашу античницу Л.В.Каган лишь за то, что поставила двойку одному студенту из Средней Азии и отчитала его при этом. Я его хорошо помню, мы жили в одной комнате. Он был отъявленным лодырем, учебника и хрестоматии в глаза не видел, а ведь хватило смекалки побежать в партбюро – дескать эта Каган (быстро сориентировался) издевается над национальными кадрами...

... Как-то один раз М.П. пришел на лекцию особенно возбужденным и начал ее неизвестными мне тогда стихами:

В этой теме и личной и мелкой,
перепетой не раз и не пять,
я кружил поэтической белкой
и хочу кружиться опять...

Стихи были необыкновенно, завораживающе хороши, но кто же это? Маяковский? Вроде бы он: "сердцелюдый", "кисти раскистены", "красношелкий огонь". Но какой необычный, странный, инстинктивный, тайный, интимный и одновременно громоподобный Маяковский. А ритм-то ведь классический! Прочитано было как всегда мастерски. Так я узнал "Про это", "заболел" поэмой, вытвердил ее чуть ли не наизусть, а она невероятно сложна. Но память справилась. Я

"взасос" твердил эти стихи не неделю, месяц, – годы. Я жил ими. Как отзывалась в душе и странноватая тема двойничества, и Раскольников, и "Большая Медведица". А "человек из-за семи лет"?

У лет на мосту,
на презренье,
на смех,
земной любви искупителем значась,
должен стоять,
стою за всех,
за всех расплачусь,
за всех расплачусь.

Горло перехватывало, сердце останавливалось... Казалось, что лучшей поэзии и быть не может.

В другой раз было прочитано:

Забывши и
классы
и партии,
идет
на дежурную речь.
Глаза
у него
бонапартьи
и цвета
защитного
френч.

Это цитировалось к разговору об использовании классических ритмов в стихах Маяковского.

– Что это по жанру?

После долгого молчания кто-то робко предположил: пародия.

– Вот именно! Что же пародируется?

Опять повисла тягостная пауза, и вдруг я почувствовал в этих строчках что-то удивительно знакомое по звучанию и ритму. Вот оно что! Оказывается, можно пародировать и ритмом! Собравшись с духом, сказал чуть слышно: "Воздушный корабль" Лермонтова.

Опять сверкнули очки, стремительно вскинулась над кафедрой рука, М.П. вонзился в меня взглядом: "Встаньте!" Сказано резко, в голосе чуть ли не металл. Встаю ни жив, ни мертв.

– Молодец!

Я не знал, куда деваться от счастья.

Думаю, что в те годы он вместе с нами был очарован Маяковским, влюблен в него, и для него тоже его поэзия была "могучей музыкой", иногда нам казалось, что он сам немножко похож на поэта... Его кумиром, его делом всегда оставался Пушкин, но и Маяковского он тогда пустил в свою

душу и сердце, что было, то было... Он распрощался с "очарованием" Маяковским куда раньше нас, мы же его еще долго "продляли".

Судьба одарила меня дружбой с этим человеком. М.П. сделал из меня не только любителя поэзии Маяковского, но и "маяковиста". По его идее и подсказке я несколько лет с удовольствием занимался ритмикой поэта, появились статьи, да и диссертацию написал об Асееве. Он посоветовал мне перейти на литфак МГПИ и помог это осуществить.

Закрепили ли преподаватели МГПИ мою любовь к Маяковскому? В очень малой степени. Здесь не оказалось специалиста по поэту, и он был лишь программным автором. Впрочем, о преподавателях МГПИ как-нибудь в другой раз, но Федор Михайлович Головченченко, наш декан, уж никак обойден быть не может. Все восторгались им. Это и вправду была яркая личность. По первому впечатлению. Седовласый гигант, лектор-импровизатор с сильным, приятного тембра голосом, демократ, широкой души человек. По первому впечатлению. Увы, уву...

Ф.М. был "красным профессором" (то есть окончил Институт красной профессуры) и, может быть, поэтому в своих взглядах, вкусах, пристрастиях, теориях всегда "шел до конца". Это вроде бы и нравилось нам, но что-то мешало. В книге "Реализм Гоголя" и в лекциях он называл "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" "самой смешной повестью в мировой литературе". Пафос-то понятен, но какова научная ценность подобного? Тут слегка отдавало пустозвонством, и мы это вскоре почувствовали.

Мне кажется теперь, что в Ф.М. было что-то от трифоновского Ганчука из "Дома на набережной". Полагаю, что в этом ярком образе опущена одна существенная характеристическая деталь: "красное профессорство" Ганчука должно было проявиться не только в непреклонности проводимых им идей, это-то показано как раз рельефно, но и в неизбежном отсутствии подлинной образованности, эрудиции, так сказать автоматизма эрудиции. Именно на этом и "срезался", потускнел в наших глазах Ф.М. Он любил импровизировать на лекциях и делал это эффектно, интересно, но нет-нет да и привирал, путал, неточно цитировал. То "150 000 000" отнесет к дооктябрьским поэмам, то вдруг услышишь такое:

Он знал довольно по латыни,
чтоб эпиграммы разбирать. (Вместо "эпиграфы").

Еремин, Пуришев и Бонди тоже любили импровизировать, но их импровизации были совсем другого качества.

Но окончательно поблек его образ, когда он с тем же

привычным пафосом громил Дудинцева, Яшина, Гранина. И дело даже не в том, что громил, не он один. Ф.М. придумал такой пассаж: дескать, нашли критики о чем писать – о дудинцевском романе, а вот о "Судьбе человека" – как в рот воды набрали. Это он точно "подгадал": рассказ был только что напечатан, а статьи не успели просто появиться. И это была уже нестерпимая фальшь, все знали, что вот-вот они пойдут косяком.

Но возвратимся к казусу с поэмой "150 000 000". Он задел нас особенно болезненно, куда сильнее, чем перевертывание Пушкина. Мы увидели в этом кощунство по отношению к Маяковскому. И как раз в самый разгар нашей любви к его поэзии.

Как много значил тогда Маяковский для нас! Одно из главных тому свидетельств – *цитирование*. Нет, нет, не на экзаменах и зачетах и не в докладах и рефератах, – в нашей повседневной студенческой жизни. Ни одна беседа, разговор, рассказ не обходились без цитаты из Маяковского. Уверен, что в институте, общежитье, на улице – повсюду он звучал для нас уж никак не менее 15–20 раз в день, и это в течение нескольких лет!

... Возвращаюсь в общежитие с Усачевского рынка, в сумке картошка, лук и морковь. По дороге "готовится" цитата. Распахиваю дверь, вынимаю две морковки. "Две морковинки несу за зеленый хвостик!" Оживление и смех гарантированы. Ф.М. отправляется на лекцию в аудиторию, вслед несет: "Идет на дежурную речь". Посреди какого-нибудь бурного спора вдруг раздается задумчиво-сардоническое: "Впрочем, что ж болтанье! Спиритизма вроде". Э.К. здороваясь сильно жмет руку: "Стиснул? Больно? Извините, дорогой". Товарищ, семья которого после долгих мучений и мытарств получила комнату в квартире со всеми удобствами... Вы уже угадали? Ну, конечно! "На кране одном написано: "Хол", на кране другом: "Гор.". И так далее, чуть не до бесконечности. Господи, что это за наваждение такое? Попробуем разобраться. Тут наслаивалось многое.

Щегольство эрудицией. Выше всего ценилась, особым шиком считалась произнесенная к месту цитата из произведения малоизвестного, какой-нибудь "Сказки о дезертире" или "Чугунных штанов" ("Ну, откопал!").

Эксплуатация чужого, готового остроумия. Это касалось не только Маяковского, но, в меньшей степени, любого классика, М.Л., наш самый большой эрудит, "профессор" среди нас, как-то заклеил одного преподавателя-циника бальзаковской фразой: "Этот мог бы сделать домино из костей собственного отца", мы ахнули, настолько к месту была

цитата. Доц. Смирнову, преподавателю методики литературы и вправду чем-то напоминавшему тургеневского Пеночкина, была приклеена сопроводительная фраза: "Насчет Федора... распорядиться". И она действительно сопровождала его все годы нашей учебы.

Но главным материалом оставался Маяковский. И собственный стиль, и собственное остроумие только вырабатывались, не могли сформироваться так скоро, а тут готовые, обреченные на успех фразы и формулы. И еще одно важное обстоятельство: это было верным доказательством, что с юмором у нас все в порядке.

Прошли годы, и с другими поколениями все это происходило уже по-другому: молодые люди стали ходить по улицам с включенными транзисторами и магнитофонами. Это тоже объединяло, но и в какой-то степени заменяло общение, беседу, разговор.

В конце концов наступил момент, когда столь часто цитировать стало как бы неудобно ("слова в простоте не скажешь, все цитата!"). Не помню, кто первый протрубил отбой, наверно, все тот же М.Л. Появилась и некоторая ирония над этой привычкой. Вспоминается такой случай. В.П., любивший поговорить красно и остроумно, произносил как-то перед нами, надо полагать, интересный монолог о Толстом. (Кажется, мы только что вернулись с американского фильма "Война и мир".) В самом интересном, кульминационном месте своей речи В.П. был прерван невинным вопросом: "И знаешь, что самое удивительное?" – "Что же?", – спросил не ожидавший подвоха оратор. И услышал злорадно-ликующее: "Так ведь до этого графа подлинного мужика в литературе не было!"

После этого случая цитат заметно поубавилось, но, думаю, мы их просто перевели во "внутренние монологи". Конечно, гипертрофия остроумной цитаты с годами прошла, но само цитирование как элемент стиля беседы, разговора осталось, отчего ж к месту не процитировать? Своего рода "моцион языка". Тогдашнее наше "цитирование" не прошло даром. Мы привыкали к афористической, образной речи и постепенно происходил переход к собственному афоризму, остроте, поначалу "близкой к оригиналу", а потом, бывало, и оригинальной.

"Романтизм" и "биографизм". Романтический, одновременно нежный и мужественный мир Маяковского-лирика, особенно дооктябрьского, оказался удивительно "биографичным", созвучным нашим первым мировоззренческим поискам, увлечениям, первой влюбленности. С Маяковского все примеривалось, проецировалось на собст-

венную жизнь, собственную биографию. Мы, тогда в подавляющем большинстве романтики и девственники, при первом же любовном увлечении, чуть ли не флирте, готовы были задать себе и задавали сакраментальный вопрос: "будет любовь или нет? Какая – большая или крошечная?"

Помню, на первом курсе я влюбился без памяти. Мы мирно и целомудренно ходили в оперу и консерваторию, оба "болели" Маяковским, и мне казалось, что у нас "общие интересы". И вдруг – бац! Однажды она заявляет, что выходит замуж ("так надо!"). И... загудел "пожар сердца"! Я был абсолютно уверен, что ее "украли", "любить увели", надо ее спасать, вырвать из болота, о господи! И во время решающего объяснения все-таки процитировал ей:

Помните,
Вы говорили:
"Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть".
А я одно видел:
Вы – Джиоконда,
которую надо украсть
и украли .

Пишу только о себе, но уверен, что и мои товарищи прошли через подобное, разница только в деталях и "цитатах".

Знание Маяковского, "болезнь" им, придавали вес и значение в глазах окружающих, укрепляли в повседневном поведении, в жизни, в особенности моей – недавнего провинциала. Это были, конечно, книжные страсти, но Маяковский оставался нашим щитом, защищавшим от обыденности, повседневности, хотелось взирать на все с его нравственных высот, подражать его максимализму, не в поступках, так хоть в душе, не в делах, так хоть в желаниях. Без Маяковского было бы труднее.

Наши гражданские и социальные потребности в области литературы. Это, пожалуй, самое главное. Тогда, в начале 50-х, еще до появления "Рычагов" А.Яшина, "Ухабов" В.Тендрякова, романа В.Дудинцева, до широкой популярности Е.Евтушенко Маяковский заполнял некий вакуум в социальной, конфликтной литературе.

Нет сатиры, так есть же сатира Маяковского, стихи и пьесы, это действительно сатира, и как современна! Мы простаивали многие часы за билетами в Театр Сатиры и

восхищались этими спектаклями именно за их современное звучание!¹

Да, конечно, по поверхности поэтической реки шли косяки псевдо-гражданской лирики, но есть же, возможна настоящая гражданская лирика, в которой органически спаяны искренний пафос и подлинная художественность – есть такая лирика, это лирика Маяковского! Нашей поэзии не хватает историзма, она иллюстративна? Но есть же поэма "Владимир Ильич Ленин", где и капитализм, и социализм, классовая борьба, а образно, художественно, трогает.

Вы говорите, критика беззуба и бесконфликтна? Так учитесь у Маяковского! Вспомните, как он расправлялся со своими литературными противниками, иногда уничтожал их одной фразой, одним словом. Вот вам пример, традиции, только используйте их!

.....

Появилась долгожданная монография В.О.Перцова, и все это получило аргументированное и, как мне тогда казалось, талантливое на фоне суконного литературоведения подтверждение. Книга стала чем-то вроде литературоведческого бестселлера, мы читали ее взахлеб. Фактов сколько! Тут и футуристические манифесты, неизвестные фотографии, Хлебников, Каменский, Крученых и все это вроде бы без особой ругани...

М.Л. с высоты своей эрудиции оценил эту книгу более сдержанно и трезво. Он точно уловил ее основное противоречие и внутреннее "лукавство" автора: при всем богатом фактическом антураже поэт у него оставался по существу прежним: "чугунным", "цельнометаллическим". М.Л. написал рецензию на книгу В.О.Перцова под названием "Маяковский глубже, смелее, богаче", из "Звезды" ему вежливо ответили: "Спасибо за внимание к нашему журналу", но не опубликовали.

Часто можно слышать: у каждого свой Пушкин, свой Бетховен, свой Левитан. Про Маяковского так сказать, пожалуй, нельзя, по крайней мере относительно нашего восприятия в 50-е годы. Он был для нас "единый", "одинаковый": одинаково нравился одним или другой группе – одинаково не нравился. У этого эстетического "одиночества"

¹Пока мы простаивали за билетами, поэт Николай Глазков сочинил и положил в стол свою эпиграмму, где были такие строчки:

Вчера побывал на премьере "Клопа",
Постановка слаба, а у кассы толпа.

Эту эпиграмму я прочитал через несколько лет. Она была непонятной и обидной. Как это так, постановка Плучека плоха?!

поэта в нашем сознании имелись и другие немаловажные причины.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН был тогда фактически под запретом, замалчивался в школе и институтских курсах. Помню, как уже после XX съезда наш преподаватель советской литературы доцент В.Н.Афанасьев не преминул отметить с удовольствием, как далеко зашел прогресс: уже и 'Есенина читаем...

Да что там Есенин! Это уже стало забываться, современному студенту известно понаслышке, но и Достоевский в те времена по существу был под запретом! Помню, как горько, безутешно рыдала одна девушка, получившая двойку за Достоевского, которого она не читала совершенно, но "громила" так, что наш добрейший Н.М. Гайденов, который двоек вообще не ставил, не выдержал... История "разрешений" и "запрещений" Достоевского после 1917 года еще ждет своего внимательного исследователя.

Что касается Есенина, то тут надо отметить и еще одно обстоятельство. Он находился у нас и под некоторым подозрением вкуса: после Маяковского простоват, уж не пошловат ли?..

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ тоже был под запретом, и политическим тоже. Его поэзии мы тогда практически не знали, а те стихи, которые попадались в старых хрестоматиях и журналах, при всем их очевидном, лежащем на поверхности мастерстве, не задевали, не трогали. Пожалуй, и Мандельштам был под подозрением нашего вкуса, но по-другому: он казался холодноватым, эстетически далеким мастером, наподобие Брюсова. Знать бы нам, какая прожита им жизнь... Как изумились мы через несколько лет его ссыльным стихам, первоначально ходившим в "самиздате", как они поразили душу!

БОРИС ПАСТЕРНАК. С ним сложнее всего. Он пришел ко мне (думаю, и к другим тоже) благодаря Маяковскому. В статье "Как делать стихи" четверостишие Пастернака было названо "гениальным". Это интриговало, Маяковский, кажется, никого и никогда не удостаивал таким эпитетом, в памяти всплывало: "чересчур страна моя поэтами нища", а тут сразу "гениальное". Еще один "гениальный"? Я бросился штурмовать "Поверх барьеров" и отступился в некоторой досаде и бессилии... И не скажешь ведь, что это чуждо и непонятно, какая-то необычная, диковатая и странная красота этих стихов подспудно чувствовалась, до нее хотелось добраться, достучаться. Не получалось...

Пастернак требовал более глубокого и тонкого уровня восприятия, чем Маяковский, а мне казалось, что это —

зашифрованность, это очевидный недостаток. Что же за стихи, "для немногих", что ли? Так и сформировалось мое тогдашнее отношение к Пастернаку: поэт "гениальный", но "чужой".

И еще: "небожитель", "олимпиец". "Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?" Это раздражало еще больше: как же так, такой талант и такой темперамент и почти ни слова о современности? Мы были согласны и с известной карикатурой Кукрыниксов, изображавшей его загадочным сфинксом, и с эпиграммой. А.Архангельского:

Все изменяется под нашим зодиаком,
но Пастернак остался Пастернаком.

Прямо-таки детская наивность, слепота какая-то, помогли бы ему, что ли, открыли глаза! И мы верили Перцову, по которому выходило, что Маяковский "боролся" за него, стараясь, правда, в основном безуспешно, вывести на "широкую дорогу" соц. реализма и гражданских тем.

Потом появились "Стихи из романа", и мы обрадовались за поэта, кажется, нашедшего дорогу к мудрой простоте. Потом, как снег на голову, история с романом и сам роман. И наконец, уже много позже, пришло и утвердилось осознание органичности и единственности его поэтической судьбы.

АННА АХМАТОВА... О ней мало сказать – находилась под запретом, точнее будет – предана анафеме. Странное, на первый взгляд, дело: ждановский доклад мне нравился – логично, просто, понятен пафос, о сложных вещах – доступно. Вспоминается в связи с этим, как мы, первокурсники, любили конспектировать Сталина (сразу ясно, что подчеркивать) и не особенно Ленина – все время полемика, пока-то до "сути" доберешься...

Печально, но, видимо, закономерно: тогда, в начале 50-х, Ахматова оценивалась мною в основном по Жданову – "не то монахиня, не то блудница".

Но клянусь тебе ангельским садом,
чудотворной иконой клянусь
и ночей наших пламенных чадом...

Лукавый Жданов вырывал строчки из контекста, они воспринимались, как написанные недавно, ставил Ахматову рядом с неведомым нам Хазиным, в его интерпретации бесспорным пошляком, и на поэтессу падал отсвет пошлости. Мне казалось, что писать так в недавнем прошлом, а тем более в трудные послевоенные годы, "когда отчизна страждет" – кощунство. И стало быть, здорово, поделом "припечатал" ее когда-то Маяковский: "как будто прилип Бенуа к каким-то стишкам Ахматовой".

Маяковский потешался над несравненным "Сероглазым королем", поэт глумился над поэтом:

Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король!

(А.Ахматова)

Ехал на ярмарку ухарь-купец!
Ухарь-купец, удалой молодец.

(В.Маяковский)

А мне думалось: как здорово, как смешно! Еще одна "ритмическая пародия" и какая точная, остроумная!

Эта социально-эстетическая анафема Жданова, подкрепленная еще и Маяковским, прочно закрепилась в моем сознании, душа долго сопротивлялась, вопреки всему, вопреки очевидности. Как и Пастернак, Ахматова пришла ко мне значительно позже.

.....

Размышляя теперь о своем восприятии поэзии Маяковского в студенческие годы, я думаю, что оно было четко разделено на два этапа: до XX съезда и после. Тогда казалось, что 56-й год приблизил поэта к нам: в самом деле, восстанавливалось пропущенное в тексте (так слову "флотского", которое долгие годы бессмысленно, как обрубок веревки, торчало в поэме "Владимир Ильич Ленин" вернули, наконец, рифму – "Троцкого"), вновь показали фильмы с его участием, вышел том "Литературного наследства" – "Новое о Маяковском", посолиднели комментарии.

"Новое о Маяковском" произвело на нас огромное впечатление и тоже стало "бестселлером", как в свое время книга Перцова. Но не менее сильное впечатление было и у официальных инстанций. Недавно я с немалым изумлением узнал, что было, оказывается, даже специальное постановление ЦК КПСС "О книге "Новое о Маяковском" от 31 марта 1969 г. Ни более, ни менее. Приведу небольшую цитату.

"1. Отметить, что отделение языка и литературы Академии наук СССР допустило грубую ошибку, выпустив 20-тысячным тиражом 65-й том "Литературного наследства" "Новое о Маяковском". В книге содержатся материалы, искажающие облик выдающегося советского поэта; опубликована переписка, носящая сугубо личный характер, не представляющая научного интереса. Ряд других материалов, тенденциозно подобранных в книге, дают неверное представление о поэте, якобы находившемся в разладе с советской действительностью, что перекликается с клеветническими измышлениями зарубежных ревизионистов о Маяковском. Реакционная зарубежная пресса использовала книгу "Новое о Маяковском" в целях антисоветской пропаганды. Содержание книги вызвало возмущение советской общественности".

Что верно, то верно. "Возмущение советской общественности" мы сразу же почувствовали на лекциях по советской литературе.

После "Нового о Маяковском" и этого грубого окрика Маяковский, казалось бы, должен был стать нам еще ближе. Но вышло по-иному. Именно после 56-го года постепенно, но неуклонно, самым естественным ходом событий он стал отодвигаться на второй план в нашем эстетическом сознании. Конечно, были и есть исключения. Можно и сейчас встретить немолодого энтузиаста Маяковского, но попадаются они все реже и реже. Трудно посчитать случайным, что их все меньше и меньше среди студенчества, за последний десяток лет моего преподавания в вузе я мог бы их на пальцах пересчитать. Да и для них Маяковский вовсе не тот "единственный", что для нас раньше.

Правда и нынче попадаются случаи уникальные. Эту заметочку я перечитывал несколько раз и все никак не мог прийти в себя от изумления, привожу ее полностью.

Строки из писем. "Мы проходили на уроке "Капитанскую дочку". И вдруг учительница спросила, знает ли кто-нибудь из нас стихи Маяковского. Некоторые подняли руку. Одна девочка прочла "Стихи о советском паспорте", другая – "Послушайте!", еще читали двое-трое, потом сама учительница с выражением прочла отрывок из поэмы "Хорошо!" А потом сказала так: "Это была маленькая пауза. Мы с вами, ребята, побывали в мире прекрасного. А теперь вернемся к уроку...". Тут ее лицо стало скучным, и мы продолжали разбирать "Капитанскую дочку".

Ира В. Новосибирск.

("Литературная газета" 28 мая 1986 г.)

Однако вернемся к середине 50-х годов. В тот социально-эстетический вакуум, который заполнялся Маяковским, хлынул мощный и бурный вал современной литературы, в первую очередь, поэзии ("человечеству хочется песен" Л.Мартынов). "День поэзии" 1956 года, первые многотысячные поэтические вечера. "Вторая молодость" Асеева, Сельвинского, Смелякова, Луговского. Чуть ли не ежемесячное открытие нового поэта; так был открыт и на время стал властителем дум Леонид Мартынов. Возвращение в поэзию А.Ахматовой, М.Цветаевой, П.Васильева, Б.Корнилова, Н.Заболоцкого. Слуцкий, Межиров, Винокуров. Евтушенко не успел еще и "крикнуть-то" по-настоящему, а уже докричался, дошел до нас, увлек и взволновал. По-своему взвол-

новали Вознесенский, Рождественский, Окуджава, Ахмадулина. А вскоре и Дудинцев подросел со своим романом, и на короткое время вся наша литература как бы забылась.

Этот бурный вал подхватил Маяковского, накрыл, захлестнул, понес дальше. Но поэт вскоре "вынырнул" и пристал к берегу. После XX съезда, реабилитации писателей, воспоминаний Эренбурга, Каверина и других, после того как мы фактически впервые в "Новом о Маяковском" прочли его предсмертную записку, фигура поэта, пожалуй, больше, чем раньше, в нашем сознании стала окрашиваться в трагические тона и как бы невольно подверстывалась нами по судьбе к судьбам жертв культа, представлялось, что и он тоже жертва, вольная или невольная (самоубийство). Не в этом ли одна из причин того, что с конца 50-х годов к подножию киальниковского монумента стали собираться читать стихи молодые люди, потом все это превратилось в одну из ярких антикультовых акций? Хотя, может быть, этому есть и другое, более простое объяснение. Куда, собственно, можно пойти в Москве, к какому памятнику? Будь, например, в Москве памятник *Марине*, наверно, пошли бы прежде к ней...

А потом трагедия Маяковского еще более померкла, вытесненная рассказами о других трагедиях и не только отдельных людей: "Один день Ивана Денисовича", поток (вскоре перекрытый) литературы о лагерях. Тем временем изданные (относительно полно) Пастернак, Цветаева, Булгаков, начавшийся ренессанс хорошей прозы (Шукшин, Белов, Битов, Астафьев, Искандер) уже и окончательно определили, отграничили место Маяковского в моей душе.

...В один из недавних приездов в Москву я впервые зашел в Государственный музей Маяковского. Впечатление удручающее... Огромная, роскошная парадная экспозиция: революции 1905 и 1917 годов, Ленин и Маяковский. "Хорошо!", Франция, Америка, выставка "20 лет работы" – сплошное победное шествие. Естественно, для такой "малости", как предсмертная записка, места в ней не нашлось. Спрашиваю об этом смотрителя.

– Это вы зайдите, – отвечает она, – в пятую комнату.

Захожу в пятую комнату. Сидит девица, не то студентка, не то недавняя школьница, зарабатывающая стаж для поступления в институт. Тут же приносит мне "Новое о Маяковском".

– Да нет же, не надо! Вы мне саму записку покажите.

– Нужно специальное разрешение. Делайте заявку.

– А почему она не экспонируется?

Молчание.

– Экая невидаль, – сказал мне приятель, – ты ж ее наизусть знаешь.

Не в этом дело. Тут важно и психологически интересно увидеть своими глазами: бумагу, ее края, чернила, наконец, почерк и многое, многое другое. Во всей этой роскошной экспозиции самое интересное именно автографы. С каким-то графологическим интересом, напряженно всматривался я в них, пытаюсь представить себе человека, написавшего это, ибо "иной раз, почерк и бумага больше говорят, чем стихи, написанные в ней" (Ю. Тынянов). Ну хотя бы "Комсомольская", ее беловой автограф я изучал особенно долго – аккуратный, твердый, каллиграфический, почти чиновничий почерк...

О Маяковском сейчас написана уйма статей, книг. Появляются уже и "изысканные", где умело и умно исследуются тончайшие вопросы поэтики, ритмики, стиля. Радоваться бы надо, да что-то мешает... Мне вспомнился Януш Корчак: "Ребенок хочет знать, почему это так говорят: "глуп, как пробка"? А школа ему отвечает: "пробка – имя существительное".

В литературе о Маяковском рассмотрены, кажется, все вопросы. Все, кроме главного: личность поэта и ее эволюция. Ведь есть же книга Б.И. Бурсова "Личность Достоевского". Казалось бы, и о личности Маяковского пиши да издавай. И о личности Горького, Алексея Толстого тоже не помешало бы. Ан нет: бог весть, куда может завести такая постановка проблемы. Для массового потребления используется не "личность", а "образ", созданный Перцовым и Кибальниковым. И стоит, и будет стоять кибальниковский монумент...

ВЗРОСЛОСТЬ

Последняя часть короче остальных и вовсе не из-за недостатка материала. Просто ныне по взрослости Маяковский читается спокойно и аналитично, думается о нем – так же: Почти все "отболело". Уровень его пафоса невольно проверяется другими уровнями: Пастернак, Ахматова, Платонов, Булгаков. Да и нынешним уровнем всего, что мы знаем о прошлом и настоящем. С Маяковским как бы "все ясно", и нет необходимости, да признаться, и особой охоты пространно говорить об этом. Остановлюсь лишь на некоторых, на мой взгляд, важных вопросах.

Традиции Маяковского сегодня, в поэзии наших дней. Об этом не счесть статей и книг, диссертаций, но где они в сегодняшней поэзии, эти традиции, отзовитесь, поэты! Нет их, этих традиций, а если и появляются, то чаще всего в уродливо-карикатурной форме.

Во время последнего Московского фестиваля я видел и слышал по телевидению выступление Е.Евтушенко на международной встрече поэтов. Это надо было видеть и слышать. Поседевший кумир 50–60-х, уставший от бесконечного лавирования "между городом ДА и городом НЕТ", идеально шитый костюм, сорочка "свежевымы...", простите, "свежекупленная", надо полагать, от Диора, и даже не верилось, что было когда-то: "носил он брюки узкие, читал Хемингуэя"... На этой встрече он "по-маяковски" читал свою давнюю "Казнь Стеньки Разина". Впечатление было удручающим: и стихи-то устарели, а уж исполнение, манера... Все время на ум приходило гоголевское: "...все обман, все мечта, все не то, чем кажется".

Другой наш кумир 50–60-х, Андрей Вознесенский, вздумал как-то поговорить "по-маяковски" с вождями. Нет, нет, "не по существу", конечно. Его, видите ли, по-граждански возмутило и взволновало, что Ленина до сих пор печатают на ассигнациях, как же так? По этому поводу он и решился обратиться к "вождям". Разумеется не на ТЫ, как Маяковский в предсмертной записке, на Вы, но все-таки "непосредственно". Из этого получилось стихотворение. А вот что "получилось" из стихотворения (начальная строфа). Первый вариант был напечатан в ташкентском журнале "Звезда Востока".

Я не знаю, как это сделать,
но товарищи из ЦК,
Уберите Ленина с денег,
Так цена его высока! (Выделено нами – Д.Р.)

А вот окончательный вариант для всесоюзного читателя, появившийся спустя некоторое время в "Литературной России".

Я не знаю, как это сделать,
переделка не так легка, (!)
уберите Ленина с денег, –
так цена его высока!

Что сей сон означает? Цензура? А может быть, сам поэт, "свой внутренний цензор", автор этой "переделки"? И как он в нее "попал"? Почему молчал об этом? Почему молчит до сих пор?

Оценка Маяковским поэтов-современников. Тут надо все, решительно все проверять досконально и дотошно, взглядом из сегодня, "свежими и нынешними очами".

Всего один пример. Выжил же, остался в читательской памяти некогда "припечатанный" им хороший поэт Иван Молчанов. "Творчески" развивая эти "традиции" Маяковского в послевоенные годы, поэт и пародист Сергей Васильев уже размахивал дубиной, бил лежачего и подводил итоги.

Никогда не бил посуду,
Жил, как мог, писал, как мог.
А прославиться повсюду
Маяковский мне помог.

Иван Молчанов выжил, остался в поэзии. Останется ли в ней Сергей Васильев?

Позвольте, позвольте, но есть же "Послание пролетарским поэтам"? И в памяти тут же всплывает: "больше поэтов хороших и разных". Однако попробуем прочитать это стихотворение, представивши себе, что читаем его впервые и забыли анализы Метченко и Перцова.

Товарищи,
 позвольте
 без поэзы,
 без маски —
как старший товарищ,
 неглупый и чуткий,
поразговариваю с вами,
 товарищ Безыменский,
товарищ Светлов,
 товарищ Уткин.

На первый взгляд, интонация самая что ни на есть демократическая, доверительная, естественная, а это "поразговариваю" — просто замечательно. И цель разговора благородна: "чтоб больше поэтов хороших и разных". В дальнейшем, правда, эта строчка превратилась в лозунг и формулу, ее цитировали бесконечно. Возвратим эту строчку в контекст строфы.

Я кажусь вам
 академиком
 с большим задом,
один, мол, я
 жрец поэзий непролазных.
А мне
 в действительности
 единственное надо —
чтоб больше поэтов
 хороших
 и разных.

Тут что-то не вяжется. Это к Безыменскому-то обращается "старший товарищ", а ведь разница в возрасте между ними по тем временам совсем незаметна — всего пять лет. И Безыменский с его известными амбициями и "эстрадными победами" не меньшими, чем у "старшего товарища", воспринимает оратора как "академика", пусть даже "с большим задом"? (Об иронии чуть позже). В это совершенно не верится, как не верится и в высокую трибуну, с которой вещает поэт, а "хорошие" его почтительно слушают. Значит, он

все-таки больше, чем просто "хороший", уж не "единственный" ли? Не было этого. Каждый "хороший" считал, что он хоть чуть-чуть больше, чем просто "хороший", а то и "единственный", и это естественно не только по логике литературной борьбы тех лет, это вообще естественно, в особенности для молодых авторов, в наши дни – тоже.

Юрий Кузнецов вспоминает:

"В коридорах я иногда видел Николая Рубцова, но не был с ним знаком. Он ходил как тень... Наша единственная встреча произошла осенью 1969 года. Я готовил на кухне завтрак и вдруг – Рубцов. Он возник как тень. Видимо, с утра его мучила жажда. Он подставил под кран пустую бутылку из-под кефира, взглянул на меня и тихо произнес:

– Почему вы со мной не здороваетесь?

Я пожал плечами. Уходя, он добавил, притом серьезным голосом:

– Я гений, но я прост с людьми.

Я опять промолчал, а про себя подумал: "Не много ли: два гения на одной кухне"¹.

"Один, мол, я жрец поэзий непролазных..." Да они и не думали так, им и в голову это не приходило! Тем более те поэты, о которых Багрицкий написал:

А в походной сумке –
спички и табак.
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак...

"Как старший товарищ, неглупый и чуткий..."

Стоит
изумиться
рифмочек парой нам –
мы
почитаем поэта гением.
Одного
называют
красным Байроном,
другого –
самым красным Гейнем.

Вроде бы все правильно и точно – и интонация, и пафос, к тому же – актуально и поныне. Уместна и ирония над критикой, сравнивавшей творчество Светлова с поэзией Гейне, а в произведениях Уткина находившей сходство с Байроном. Но почему же, почему – "поэтики"? Это Светлов и Уткин "поэтики"?! Вот так "чуткий", вот это "поразговаривал"!

И сразу ставится под сомнение демократизм интона-

¹"Литературная учеба", 1982, № 4, с. 219.

ции, стремление к консолидации, ясно, что "без маски" – поза, а "без позы" – маска, этот извращенный демократизм – тоже маска, за которой с трудом скрываемое самодовольство и самовосхваление, если уместно так сказать – желание стать "лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи", а масштаб – "поэтики" необходим для расширения масштаба собственного "я". И невольно вспомнились слова школьного товарища: "А чего это он все хвалится?"

О богоборчестве Маяковского. "Шесть монахинь" даже и вспоминать не хочется.

Но вот это:

Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Как бездумно громко кричали мы это в молодости, а ныне эти строчки увлекут разве что неразумного подростка, юношу – вряд ли. Их сегодня и про себя-то читаешь с усилием и протестом, не то что вслух. И потому еще, что здесь задета честь русской поэзии ("и внял я неба содроганье"), небо Пушкина, Лермонтова, Блока, Рубцова; толстовское небо Аустерлица, небо нашего детства, наконец! Когда лежишь летом в траве и смотришь в него, смотришь, насмотреться не можешь. Что такое "Я иду!" в сравнении в этом!

"Насчет поэзии"... "насчет политики". Об "историзме" "Ленина" и "Хорошо!" ныне и говорить не приходится. Уровень этого "историзма" (что пропущено, что сказано зря) в состоянии понять и почувствовать каждый мало-мальски знающий человек, поэтому ограничусь лишь некоторыми замечаниями.

Когда перечитываешь сегодня "Хорошо!", трудно отделаться от мысли, что эта вещь написана не к 10-летию, а скорее уж к 20-летию или 40-летию Октябрьской революции, настолько процежена, просеяна через сито история, а главное – все "в яблочко", все то, "что нужно", что требовалось, никаких сомнений и колебаний. Это вам не "Улялаевщина", "Конармия" и даже не "Разгром" Фадеева.

Этот вихрь,
от мысли до курка,
И постройку,
и пожара дым
прибирала
партия
к рукам,
направляла,
строила в ряды.

А "Ленин" – и того более. Тут от другой, странной и дикой мысли отделаться трудно: впечатление такое, что поэт... читал "Краткий курс истории ВКП(б)", вышедший в 1938 году. Воистину, "грядущие события бросают перед собою тень" (Томас Кэмпбел).

Но как же быть с интуицией, предчувствием? Ведь сам же провозглашал: "поэт настоящий вздувает заранее из искры неясной ясное знание"?

Как восхищались мы 18-й, траурной главой "Хорошо!" Что же мешает сейчас, ведь отличные стихи? Ясное знание, оно и мешает сейчас, Как мог не понять, не предвидеть, не предчувствовать поэт, что пройдет время и там, в этой священной Кремлевской стене, будет покоиться прах не только "гения всех времен и народов", но и вообще какого-нибудь мифического ныне Ф.Р.Козлова или недавних, но уже почти забытых генсеков. Судьбе было угодно создать совершенно гротескную, щедринскую ситуацию: незадолго до помещения К.У.Черненко в урну Кремлевскую его показали по телевидению на всю страну у другой урны – избирательной. Мой приятель – врач, посмотревши на него, сказал: "Таким мы сразу даем первую группу инвалидности, без всяких ВТЭК". С трудом опустив бюллетень в урну, он произнес в экран нечто совершенно непонятное: "Все хорошо". Что "хорошо", почему "хорошо" – это он унес с собой...

Поэма "Хорошо!" проецирована в будущее: "лет до ста расти нам без старости". Это что же, выходит, из кремлевских урн и эти старцы к нам зывают:

– Скажите –
 вы здесь?
Скажите –
 не сдали?
Идут ли вперед?
 Не стоят ли? –
 Скажите.
Достроит
 коммуну
 из света и стали
республики
 вашей
 сегодняшний житель?

А мы им должны ответить: "тише, товарищи, спите"?! Вот ведь что можно "вздуать" из "искры неясной"...

Но позвольте, позвольте, откуда же он мог знать? А интуиция, а предвидение, предчувствие, ведь он же поэт! И как величественен в сравнении с ним Пастернак, который мужественно чурался подобной конкретики, сохраняя "живую точность тайн" своей поэзии, шествуя крестным путем к

трагическому финалу: "я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить – не поле перейти". Но и награда бесценна: вечное благодарное внимание поколений. А монументально-безупречная Анна Андреевна Ахматова? А "тихий", "незаметный" Платонов? Печальные очи Зощенко?

Монумент Маяковского треснул, и трещина прошлась как раз по хребту, отчего вид получился гротескный: левая сторона ниже правой. И находки в поэтике, ритмике и стиле постепенно отделились от личности его, произошло отчуждение мастерства от души, поэзия и нравственность зашагали в разных колоннах.

Вспоминаю, что после 56-го года были популярны в студенческой среде так называемые капустники, у нас в МГПИ они назывались "обозрениями" и порой бывали острыми. Так вот, на одном таком "обозрении" в другом Московском институте на сцене стояли живые фигуры, изображавшие московские памятники, а жюри, сидевшее в глубине сцены, строго экзаменовало их. О чем-то спросили "Гоголя" (Томский), но не успел тот рта раскрыть, как его посадили: "Нет, уж вы лучше сядьте" (намек на андреевского Гоголя, сидящего в трагической позе). Может быть, трагический, "сидящий" Маяковский и приблизился бы к нам и наступит когда-нибудь "ретро" его поэзии? Возможно. Не знаю...

1985–1986

ПРОГУЛКА ПО МОРШАНСКУ В ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Саше Рачкову – брату, другу

Когда подъезжаешь к Моршанску из Тамбова, мелькают названия все знакомей и знакомей и немножко ноет сердце, о особенно если не был здесь долго: Кулеватово, Ивенье, Крюково, Питерское. А вот и Застава, это уже собственно Моршанск, точнее, его пригород, впрочем, так было давным-давно, в каком-нибудь 42-м, а ныне здесь даже две деветизтажки.

Да не обидятся на меня тамбовчане, если скажу, что Моршанск город не менее, а может быть и более знаменитый, чем Тамбов. Историк поведал бы об известных людях, живших здесь, их немало, памятных зданиях, революционном прошлом. Но я не историк, моя задача скромнее, но и не легче: рассказать о городе моего детства, "когда деревья были большими", когда ты не видел еще ни Тамбова, ни Москвы, а поездка на рыбалку в какое-нибудь Мутасьево или Серповое была целым событием.

Да, Моршанск город известный. И по литературе тоже. Память сразу подсказывает из "Двенадцати стульев": "Вы из Парижа?.. Нет, из Моршанска". Интересно, почему прославленные сатирики выбрали именно Моршанск для контраста Парижу? Символ провинциального захолустья? Конечно. Но мало ли на Руси таких городков? Символ-то символ, но особенный, неповторимый символ...

"Париж, Париж, поедешь – угоришь!" Не будем скромничать: от Моршанска тоже "угореть" можно. Он то канет в небытие на долгие годы, то вдруг вынырнет и прогремит на всю страну. Это город особенный, город резких контрастов, и его жителям, возможно, присуща та черта натуры русского человека, о которой писал еще Гоголь: "Черт поberi все!" Ты дорог мне, мой город, ты один такой в моей душе и моем сердце.

Моршанск – город песенный. Бывало едешь в субботнем "грибном" пригородном поезде и сладко дремлешь под стук колес. Но недолго! Весь вагон вдруг запекает, и пока едешь, невольно пропеешь весь тогдашний репертуар от "Хас-Булата" до "Каким ты был...". Песня еще долго звучит в утреннем лесу. Потом затихает.

Забавную сцену довелось мне как-то видеть на одной моршанской свадьбе. Свадьба как свадьба, играл, сотрясая наши барабанные перепонки, эстрадный ансамбль. И вот застольная песня перепела, заглушила, победила этот ансамбль, а сами "лабухи", оставивши свои бас-гитары и ударники, смущенно улыбаясь, подсаживались к столу и мгновение спустя, стараясь не потеряться в хоре, выводили мелодию старинной песни.

И еще о песне. Помню, с каким радостным волнением пели мы, студенты начала 50-х годов, песню "Горят костры далекие".

Горят костры далекие,
Луна в реке купается,
А парень с милой девушкой
На лавочке прощается.

Ну и что особенного в этой непритязательной песенке? – спросит современный студент. Особенное? Может быть, именно эта непритязательность. Ведь это была одна из первых после сталинского песенного официоза песен о тебе и обо мне, а не о шагающем в колоннах монолитном коллективе ("нам нет преград ни в море, ни на суше"). В тот бурный поток, который прорвал плотину на XX съезде, влился и маленький, скромный ручеек этой задушевной песни. И я рад, что это моршанская песня и автор ее поэт-моршанец Иван Шамов.

... Заставу, от которой до дома рукой подать, я проеду и выйду в центре на Октябрьской площади, чтобы пройти оттуда по Моршанску, так сказать, "ретроспективно": по Интернациональной, Пролетарской, Советской, Сакко и Ванцетти, Карла Маркса – в каком самом захудалом городишке нашей России-матушки нет улиц с такими названиями? Посижу немного в скверике рядом с детской библиотекой, здесь некогда стоял ангельского вида гипсовый мальчик – Володя Ульянов. Теперь его уже нет, да и скверика нет, все разворочено стройкой. Стайка грязных со свалывшейся шерстью барбосов, забыв об опасности (пацаны!), блаженно дремлет на солнышке. Лезу в сумку за куском колбасы, собаки стремглав разбегаются, укоризненно оглядываясь: камень, поди, достаешь! Но один барбос, самый замызганный, но видно и самый смелый, подползает к куску, давясь, сжирает его и наутек, на ходу виляя хвостом.

Ну-с, а теперь по центральной артерии – Интернациональной улице. Тут что ни дом – рой воспоминаний. Вот "грачевский дом", принадлежавший некогда купцу Грачеву, моршанцы до сих пор говорят: "А в магазине, что в Грачевском доме..." Дом трехэтажный, но высокий, не ниже нынешних пятиэтажек, и большой – на целый квартал. Костя Озеров, заводила нашего класса (о нем речь впереди), придумал в этом доме такое изысканное развлечение. Зимой по вечерам разъезжались на санях с моршанского базара по своим деревням крестьяне. Мы заранее налепляли штук по двадцать снежков на брата и из окон коридора стреляли по ним, сердечным, норовя попасть в бороду (высший шик!). А если уж в бороду попадало, то крестьянин не выдерживал, бросался в темный подъезд, чтоб нам... ноги повыдергивать. Но тут его ждало суровое испытание: в темном коридоре в геометрическом порядке были расставлены ведра, полные и пустые, их со страшным грохотом опрокидывал бородач, выскакивали из квартир жильцы и начиналось...

Перейду-ка я лучше на другую сторону и пройду немного к Октябрьской площади. Тут два памятных места. Артезианский колодец с чистой, ледяной даже в летнюю жару водой (увы, на его месте уже построена какая-то контора) и Дом культуры. Олег, слышишь ли меня? В тот твой приезд из Москвы в Моршанск я научил тебя плавать, то-то радости было. Сидели мы с тобой в этом ДК на памятном концерте, который давала заезжая лихая столичная бригада.

Худая, усохшая девица оглушительно громко, отчаянно жестикулируя, читала "Смерть поэта" (зачем?), потом был акробатический этюд, исполненный потными акробатами, вальс Шопена на местном рояле и невесть бог что. Концерт

вели известные московские конферансье Громов и Милич. Громов гонялся по сцене за Миличем, в самом конце первого отделения настигал-таки его, стрелял ему в грудь, тот картинно падал. Разведя руками и сияя нахальством, Громов кричал в зал: "Антракт!" И тут же дали занавес.

Я стою возле этого ДК, побеленного, как бы припудренного, что же нынче здесь? Высоцкий, Высоцкий... Высоцкий – диско, Высоцкий – теле, "Опасные гастроли", "Вертикаль", "Воспоминание". Высоцкого навалом. Бедный Владимир Семенович...

Грачевский дом – это Интернациональная, 40, дальше, стой сердце, дальше Интернациональная, 42. Вот здесь, в этом доме звезда моя жила. Теперь уж она далеко-далеко, а дом все стоит... впрочем, это Гейне. Ах, боже мой, Римма Л., близорукая, в очках, но вылитая тургеневская красавица! Первые смутные мысли о всеобщем благе и первые, прости, господи, любовные волнения. "Вы длинный, как фитиль", – прислала она мне однажды записку на уроке. Меня обдало счастьем. Сколько детей ты нарожала и сколько внуков у тебя, моя милая?

Куда теперь? Если свернешь с Интернациональной налево – Цна, направо – Дубинёвка. Но о ней особо, потом, потом... И обогнувши краеведческий музей, иду к реке, вот она светится, блестит из-за деревьев. Батюшки-светы, а набережная-то в бетонных плитах, проросших муравой, лебедой и крапивой, на парашете сидят пацаны с гитарами, и опять, Владимир Семенович...

Но что же не проходит смутная тревога, запавшая в душу еще на подъезде к городу, что такое? И вдруг осеняет: Собор! Ну, конечно, а Собор-то где? Почему я не увидел его из автобусного окна еще у Крюкова? Бывало возвращаешься с рыбалки, 70 километров на великах, да еще рюкзаки, да удочки, да амуниция, ляжешь в траву: пропади все пропадом! А Собор увидишь – стоит! – откуда только силы брались.

Собор и правда огромный, роскошный, пожалуй, несколько, безвкусный. Отгрохало моршанское купечество! И поныне в Моршанске все от мала до велика, от детсадовского карапуза до убогого пенсионера гордо тебе объяснят, что он второй по высоте после Исаакия... Собор стоит на месте, но без куполов, потому я и не удивел его на подъезде к городу. Мимо недавно возведенной ограды прохаживается милиционер.

Что же с тобой случилось, мой милый мастодонт?

Оказывается, сгорел. Больше ста лет стоял и не взорвал тебя лихой безбожник в 30-е, не разобрали на кирпичи после войны. Какой-то отчаянный малый взобрался на

на главный купол, хотел крест свернуть, куда там! Скосил только чуть, он хоть и деревянный, а крепкий, как железо. Собор горел три дня. В огне сгорела и мраморная табличка с золотым тиснением: "Памятник архитектуры. Охраняется государством".

.....

Ну, а теперь скорей, скорей в Дубиневку, мимо СШ № 1, где я учился, мимо Желдора (Клуб железнодорожников, первые танцы), мимо кладбища в маленький проулок, там улица Гибнера, там Дубиневка.

Впрочем, стоп! Ну как же пробежишь мимо СШ № 1, с ней связано столько воспоминаний, смешных, радостных и печальных. Захожу во двор, поднимаюсь на второй этаж, нахожу свой класс. Узнаю и не узнаю тебя, родная старушка-школа, как ты осела, будто выросла в землю, и как дорога ты мне!

Тысячу раз прав поэт: воспоминания "чем старе, тем сильнее". Свой класс вспоминаю чаще и отчетливей, чем студенческую группу. Недавно положил рядом две фотографии: 5-й "А" класс и наша группа второго курса литфака МГПИ им. В.И.Ленина. Вспомнил по фамилиям всех учеников, большинство и по именам, а студентов, как ни бился, далеко не всех, даже номер своей группы запомнил!

Где вы теперь, мои одноклассники, кто вы и с кем вы?

Что с тобою стало, наш умник и скептик Ваня Клейменов? Уже в 4-м классе он подвергал все сомнению. По каким-то мне и сейчас непонятным причинам отмахивался от обожаемых нами Жюль Верна и Майн-Рида ("чепуха", "неправда"!) и до дыр зачитывал толстовского "Кавказского пленника". Он даже на наши футбольные матчи брал его с собой, и когда его заменяли, тут же погружался в историю Жилина и Костылина. Почему бы это?

А наш школьный демагог Н.? Это же изумления достойно, как он умудрился в 10–12 лет так виртуозно освоить всю официальную "риторику" и "словесность"! Даже учителей передергивало. Началось это еще с пионерской дружины и выступал он всегда – "как надо", упирая в основном на то, что "мы сами виноваты" и "недостаточно активны". Бумажка всегда только лежала перед ним, он в нее никогда не заглядывал и ни разу не ошибся, не оговорился! Во всем этом было что-то загадочное, даже какое-то обаяние то ли искренности, то ли... не поймешь чего.

И по контрасту – Костя Озеров, сценарист всех наших иногда дерзких, а чаще бессмысленных проказ. Это по его примеру, окончивши 7-й класс, мы с каким-то непонятным

восторгом изорвали в мелкие клочки наши тетради и дневники, выбросили все это в окна, бумажная метель еще долго крутилась по улице, а однажды всем классом удрали в лес с последнего урока, пробыли там допоздна, и в школу прибежали родители. Потом это разбиралось в директорском кабинете, как "инцидент" и "акция". Наш директор, Тимофей Федорович Ладохин, контуженый и нервный, мог и по шее дать, ему сошло бы с рук – школа была лучшей в городе. Громовым голосом он приказал все нам стать на колени, все стали, и я тоже. Все, кроме Кости. Вконец озверев, наш Тимоша схватил его за шиворот и несколько раз саданул о стену. Костя все это стоически вынес, но на колени так и не стал, вырвался из железных Тимошиных лап и убежал. Хотел директор его из школы выгнать, но учителя не дали: способности и память у него были отменные.

Было в нем что-то от веселого, безудержного озорства, он всегда и всех передразнивал, пародировал, и чрезвычайно похоже. Не только нас и не только учителей. Его передразнивание (неосознанно, конечно) распространялось и на более общие вещи – официальную демагогию и парадность.

Однажды он влетел в класс и запел во все горло:

В Академии наук, тир-дир-ям!
Заседает князь Дундук, тир-дир-ям.
Почему он заседает? Потому что...

Он распевал это на мотив часто исполняемой тогда по радио песни "Как у Волги у реки" из кантаты "Река-богатырь" композитора В.А.Макарова, получившего за нее в 1951 году Сталинскую премию.

Как у Волги у реки
Разговор ведут гудки,
Берег левый, берег правый
Соревнуются на славу,
Все дружной, веселей!

Костю причесывали, перевоспитывали, ломали, но ничего не вышло, характер взял свое.

Или вот еще наугад – Гена Комлев. "Очкарик", "мозгляк" от вечного недоедания, историк по призванию, он не раз поправлял и уточнял нашу историчку. Уже на втором курсе он бросил престижный технический вуз и поступил на истфак ЛГУ.

А Нина Ефименко, Сережа Боровинский, Витя Марков?

Объездить бы их всех, как Писателю в "Подранках" Николая Губенко, собрать вместе, но какое там... А главное-то другое. Боюсь, собрались бы едва знакомые люди. Нашлось бы о чем говорить? Нашлось, конечно, еще бы не найти! После долгого узнавания, похлопывания по плечу,

вспомнили бы и футбол до одури, и как тот же очкарик Гена срезал мяч в свои ворота в решающем матче 5-го "А" и 5-го "Б", как отлупили его нещадно, я тоже лупил, учителей всех помянули бы, директора, нашу знаменитую стенгазету 1949 года, как забыть о ней? Стенгазета была посвящена 70-летию со дня рождения И.В.Сталина. Вверху ее был огромный портрет вождя, а под ним почему-то черной тушью были выведены даты: 1879–1949. В класс ворвалась бледная, как мел, завуч, закричала: "Думать надо!". Сорвала газету и то ли спрятала, то ли сожгла ее, а мы, признаться, толком и не поняли тогда, в чем дело.

Когда все это кончилось, выдохлось, хватило бы дружества? Не уверен. Исчерпавши все семейно-бытовые темы, рассказавши все анекдоты, навспоминавшись вдосталь, наверно, устали и слегка заскучали бы: завтра рано вставать, и Кольке старшему джинсы за 250 р. подавай, не успеешь оглянуться, как внуки подрастут, и начальство зажимает, а зарплата не ой-ёй-ёй и вообще, давай посошок на дорожку, да вылей ты в унитаз свою минералку, у всех почки...

Ну вот, теперь можно и в Дубиневку. Однако, что это за Дубиневка такая, почему Дубиневка? Название обиходное, но и как бы эмблематическое. Не успел я ступить на улицу Гибнера, как вижу у одного из домов гогочущую толпу и слышу из окон: "Зарежу, падло! Сяду, а зарежу!". Подхожу. Подрались зять с тестем, пахнет поножовщиной. И в этой маленькой интродукции так слились прошлое и настоящее Дубиневки!

А в этом доме, чуть поодаль, на задах, жил мой племянник Толец. Помнишь, Олег, как он украл у меня бесценный альбом с марками? Так вот, этот Толец, вернувшись из тюрьмы, порешил жену и сына, ныне, поди, уж и расстрелян. А сосед по дому, Пашок, в аналогичной пьяной ажитации – жену и кого-то из подвернувшихся под руку. Это Дубиневка. А вот и совсем свежий случай. Лето было, как известно, грибное, и три девицы отправились по грибы. На другой день их нашли в лесу. Местные фашистыги не только попользовались ими, но и повесили их. На деревьях.

В те дальние годы в начале войны именно здесь познакомились два задохлика из интеллигентских эвакуированных семей, Олег и я прожили вместе два года, а я аж до самого 45-го.

Улица Гибнера делилась пополам ручьем, так называемым Валом. Вал – государственная граница! Дубиневка-1, где жил Олег, и Дубиневка-2, где обретался ваш покорный слуга, находились в состоянии перманентной войны, и на

меня смотрели, как на лазутчика и шпиона, когда я бегал к товарищу, на него – точно так же.

И вот передо мною этот дом, его дом, Гибнера, 23, покрашенный, обшитый тесом, неузнаваемый, а соседнего, где жили наши друзья, нет и в помине. Ни одного знакомого лица, только в ребячьих лицах нет-нет да и промелькнет что-то узнаваемое.

Пересекаю Вал, и вот Гибнера, 85... Здравствуй, родимый!

Посижу около тебя. Постарел, перестроился, а все тот же. Вот и дверь та самая, в нее вошел тогда, в 42-м почтальон с извещением о похоронной посылке из части, где погиб отец, а вот и окно, то самое низкое окно, его ранним весенним утром 45-го настезь распахнула Туся Балабанович, моя двоюродная сестра, и в комнату влетело майское солнце: "Победа! Победа!! Победа!!!" Мы пляшем, пляшем и незаметно – в слезы, в слезы, и пляска обрывается матушкиным рыданием.

...Теперь можно было бы и домой, но какая-то неведомая сила влечет меня дальше за Дубиневку, в Аул. Так прозвали улицу, протянувшуюся от ныне разрушенной Федоровской церкви до оврага. Это страна Дубиневке враждебная и опасная, туда можно было пойти и не вернуться. Жили там коренные моршанцы, в Дубиневке же в основном недавние сельские, перебравшиеся в город. Меж ними не затухала война, причем на время военных действий объединялись вооруженные силы Дубиневки-1 и Дубиневки-2. Одно такое сражение я видел, это были "кулачки", "стенка на стенку", страшное зрелище. Это только называется "кулачки". Начиналось и правда с кулачной драки, но потом шли в ход и колья, и ножи, и булыжники.

В Аул, в Аул... Здесь жил незабвенный Ваня Клейменов, которого я уже упоминал. После отъезда Олега в Москву мы с ним сердечно подружились и сидели за одной партой.

Дом цел, и я долго стою у ворот. Медленно, со скрипом отворяется калитка и выходит мужик примерно моих лет, заросший щетиной, неопрятный и немного на развезях, а в выражении глаз, характерном прикусе губ, седых уже кудрях неуловимо и сладко знакомое. Я весь подался вперед и готово было сорваться: "Ванька, ты?!" И осекся. А вдруг услышу в ответ: "Какой, к лешему, Ванька? Я Игорь".

.....

Я почувствовал, что страшно устал и долго сидел на лавочке поодаль клейменовского дома. К Ефросинье Ивановне добирался городским автобусом. И вот мы сидим за столом, мне наливают большую, "мою" чашку чая, впрочем, чай – это потом. Сначала я ныряю в погреб (в него "нырнул"

когда-то с фотобачком в руках Олег) и достаю вилок квашеной, необыкновенно вкусной капусты.

– Ты ешь капусту-то, ешь, – журчит ее говорок. – Саня позавчера тоже целый вилок снизал. Ни овершьев, ни плесени, рай!

Ах ты, милая моя старушенция, седая, как лунь, и никакой восстановитель тебе уж не поможет. Сколько ж тебе всего выпало! И замуж ты из-за нас с братом Сашей не вышла, вынянчила сначала его, старшего, а потом и меня, а какая была красавица в молодости! И в эвакуацию ты потерялась, отстала от эшелона, добиралась одна через оккупированную территорию, через Воронеж, через бомбежки, и добралась-таки до Моршанска. И на Сахалин, где я после распределения работал, не побоялась лететь, Ленку мою нянчить, мигом, как ты говоришь, взнеслась.

Так и сидим мы, пьем чай с баранками, неспешно беседуем в тишине, в *тихотэ*. И она длится уже тринадцать лет. Завтра годовщина смерти матушки.

А когда-то в этой комнате гремел "Хас-Булат", лихо отплясывали под "Рио-Риту". Матушка отличалась редким хлебосольством: ни одни блины, пироги или пельмени не обходились без полного дома гостей. Ей обязан я своей любовью к музыке. У нее был недурной высокий голос, хороший слух, а главное – это в натуре ее было заложено – пела и напевала она постоянно. Чего только не услышал я от нее в детстве – и русские народные песни, и первые военные, и оперные арии, а то и вовсе что-нибудь памятное ей с нэпмановских студенческих времен, вроде этого:

Котик, если б соболей купил ты мне боа,
Ты бы заплатил за них трильона два!

Все наши моршанские застолья начинались и заканчивались пением, пели все, я тоже, и это не перестало даже после гибели отца. Если песня "жить помогает", то это и о моей матушке тоже: первые два года нашей моршанской жизни она ходила на работу в сельскую больницу, семь верст туда, семь обратно, но потрясенной, черной я видел ее только один раз, когда пришла фронтовая посылка с "похоронкой". В тот душный августовский вечер, накупавшись до посинения, я медленно брел домой и уже по дороге почуял неладное: тетя Поля, квартирная хозяйка, быстро глянула на меня и прикрыла глаза рукой. Матушка сидела перед распечатанным ящиком застывшая, каменная, в одной руке фронтовая алюминиевая кружка, в другой – та самая бумага.

Только одну песню после смерти мужа она больше никогда не пела и, если заводил ее кто-нибудь за столом,

приглашая подтянуть, умоляла глазами: "не надо!" или уходила в другую комнату.

Однажды я включил на полную громкость радио, знаменитый бас Максим Дормидонтович Михайлов пел эту самую песню – "Глухой неведомой тайгою"...

Жена найдет себе другого,
А мать сыночка никогда.

Матушка быстрым и нервным движением выдернула вилку из розетки.

– Мам, ну чего ты, ведь хорошо поет!

– Это неправильно поется, – ответила она задумчиво и печально.

И все-таки горе не сломило ее: остались мы, осталась работа и осталась музыка. Прошло время, и она снова громко зазвучала в нашем доме.

Но и нынешняя тишина мне так мила и необходима, здесь уютно, покойно и хорошо.

... Впрочем, эти строчки обдумываются уже в автобусе, несущем меня к Тамбову. Рейс последний, шофер, видно, тамбовский, поэтому автобус летит, как на крыльях, и не успел я толком подремать, как замелькали пригородные деревни: Горелое, Татаново, Донское. Теперь только бы лифт в моей девятиэтажке работал. Слава богу, работает. Поднимаюсь на свой восьмой этаж, звоню. Дверь распахивается, и навстречу мне высыпает весь мой тамбовский кагал: сначала спаниель Арто вьется у ног, повизгивает, виляя хвостом-обрубешем, потом вытаптывает, вытаращив глазища, внучок, выбегают жена и дочь, на лицах читаю – "Что? Проснулся? Давление поднялось?" И никак не втолкуешь им, что *mon heros*¹ в этих моршанских думах и воспоминаниях. Завтра мой институт загудит от заочников, начинается очередная сессия.

До свиданья, Моршанск.

1988

АРТО

Эти записки, кстати очень аккуратно отпечатанные на машинке, я нашел в ящике своего письменного стола спустя полгода после смерти моего спаниеля Арто. Внуши-

¹Мой покой (фр.)

тельного размера конверт, тщательно заклеенный, там, где адрес, значилось: "Хозяину Арто", а чуть ниже: "Записки спаниеля". Распечатываю конверт, там несколько страниц машинописного текста. Преодолев первоначальное изумление, погружаюсь в чтение. Ниже приводятся эти записки с моими отступлениями и комментариями.

.....

Как вообще произошло, что я на склоне своей, теперь уже можно сказать, долгой собачьей жизни, по человеческим меркам мне уже давно за семьдесят, взялся за эти записки? Дело случая. Как-то гуляли с хозяином в парке и вижу, некая кроха теребит бабушку за подол, на меня показывает: "Бабушка, бабушка, смотри какая собачка!" Я так и сжался, сейчас, думаю, пойдут пошлости про спаниелевы ушки: "ой, какие длинные ушки!" Или того хуже: "смотрите, вылитый Бим!" Господи, Бим же сеттер, милые мои! Порычать бы, но в парке не моги, хозяина подведешь – почему собака без намордника и вообще... развели собак. А эта крохотуля все тянет и тянет бабусю и вдруг говорит: "Бабушка, мы смотрим на них и думаем, что они собаки, а они смотрят на нас и думают, что они люди". Я так и присел на бегу, а хозяин тянет поводок, пошли, мол, от греха подальше. Сажу и ни с места. Думаю. Неужели она заметила во мне особенное? Никто не заметил, даже хозяин, а говорит, у него интуиция... Эта малыжка, едва говорить научилась, а сказала. Устами младенца...

...думать, как люди, это я давно за собой замечал, еще с юности, но тут особенного ничего нет, думают многие из нашего брата, все поди замечали, как собака поднимает ухо, сначала одно, потом другое, знаете, почему? Думает. Соображает. Рассуждает. Расхожая фраза – мол, все понимает, а сказать ничего не может – банальность, инерция мысли, сантисмент. То-то и оно, что может!

Первая сигнальная система!? О ней думаю всегда с яростью, вот уж действительно, чушь собачья... памятник собаке, – тьфу! Ан нет – вторая! Слово. И прежде письменное слово. Правда, доступно это не всем, одному псу из тысячи, может и того меньше, собачьим экстрасенсам, так их что ли называть? Это и в литературе описано. Каштанка, Бим, Руслан – они и есть собачьи экстрасенсы. Ничуть не претендую на место в этом великом ряду, куда мне! Но при случае тоже могу сказать свое слово.

Эх, Иван Петрович!.. А если б ты Каштанку оперировал?

.....

Помилуйте, это же переворот в науке! В кинологии во всяком случае. Дорого бы я дал, чтоб увидеть, как Арто слюнявит шершавым языком конверт, разглаживает его лапой. Да нет, скорее всего розыгрыш. Но кто – жена, дочка, кто-нибудь с работы? Пожалуй, нет. Слишком изысканно, да и времени сколько надо. Но если честно, все это меня не очень волнует. Меня занимают сами эти записки.

.....

Как странно, где-то услышал – ”на старости я сызнава живу” – и правда, в последнее время часто на меня накатывает: дремлешь, дремлешь в закуте, это место мне такое отвели для спанья, вдруг вскочишь, протрешь лапой-слезающиеся глаза – где я? А в ушах звуки, звуки, хоть и слышу уже плохо; как шальной, выскочишь из закута и натыкаешься то на стул, то на дверь, а что делать? и вижу я все хуже и хуже.

...ослепительно яркий осенний день, кажется, что так будет всегда, и еще долго-долго носиться тебе взапуски по двору, кувыркаться с братьями и сестрами, гоняться за курами и котом, а двор огромен, где кончается он, ты не знаешь, не ведаешь; в разгаре игры вдруг замрешь, застынешь, вслушаешься в тот мгновенно возникший в тебе голос – то ли рожок, то ли команда ”фас”, а может быть, выстрел, но уже через секунду, задыхаясь и захлебываясь, опять несешься за курицей, на пути встает раскрылся петух, с маху налетаешь на его железный клюв, тебя отбрасывает в крапиву, сердце идет горлом, ах, дурачок, дурачок, тебе всего-то от роду три месяца...

Тот день начался как обычно. Мы высыпали из сарая, спотыкаясь друг о друга, и все понеслись дальше, на волю, а я притормозил, унюхал, что во дворе чужие. Так уже бывало, приходили какие-то дяди, от них маняще сладко пахло травой, не той, что растет во дворе, и еще один запах ловил мой нос, не мог я тогда понять, что это такое, пока не побывал в лесу. То был запах неведомого живого существа или существ, совсем не такой, как обыденный, скажу резче – пошлый запах кота или курицы. Очень волновался я тогда, а мужики долго толковали с хозяином, запомнил только: ”мальцы еще, мальцы...” Крепкие, шершавые руки мяли, вертели нас, открывали рот: ”Прикус, прикус!” Потом присаживались на бревнышке перед сараем, дымили табачищем, говорили долго и неспешно, сколько ни прислушивался, мало что понял, осталась только тревога ожидания: вот-вот решится моя судьба.

И вскоре она решилась. Во дворе были чужие, и я тут же обежал их, обнюхивая. К тому времени я немного научился ("насобачился" – более точное слово) различать людей по возрасту и полу, так это были муж, жена и дочка-подросток. Их запах был куда как другой, чем от тех мужиков, это запах улицы, того, что находилось за забором, тот сумбур запахов, что вдыхал я, просунувши нос в заборную щель, его долго не выдержишь, но он неотразимо притягивал, этот запах неизвестности, любопытства, боюсь сказать – познания, правда, потом мне не раз доводилось слышать, что познание и начинается в любопытства. ...меня подхватывают чьи-то руки, совсем другие, чем те, мужичьи, держат крепко, но не больно, скорее заботливо, ласково, и я слышу: "Вот этот – мой".

Прощай, сарай! Здравствуй, новая жизнь!

.....

Именно так все и было. Арто не мог только знать, чего это нам стоило – завести собаку. Не в финансах даже дело, хотя пришлось выложить приличную сумму, главное – живем мы на восьмом этаже, безумная затея! Дочка давно хныкала о собаке, мы с женой до поры успешно отбивались, правда, если честно, я не особенно искренне, вспоминая собак своего детства, но все ускорил случай. Грустный случай.

Сижу я как-то дома один, дочка играет с подружками во дворе, вдруг звонок в дверь – две старушки с постными лицами сообщают мне буквально следующее: Ваша дочь попала под машину около магазина "Рассвет". Не помня себя, рванул по лестнице, перепрыгивая через ступеньки.

Возле "Рассвета" толпа, посредине на бетонном крыльце сидит и ревет дочка, и слава Богу, что ревет, значит, не так страшно. Оказывается, подъезжая к магазину, не сманеврировала легковушка и задела ее кузовом. Я веду ее, дуреху, домой, трясущуюся больше от страха, чем от боли. Это и решило дело, больше сопротивляться было бесполезно.

Так и появился в нашей жизни Артоня, как некий целитель, успокоитель несчастный, и, надо сказать, эту роль он выполнил отменно.

.....

Сны, собачьи сны... Чем я дряхлее, тем моложе и ярче мои сны. Хозяин говорит, что его сны – новеллы, тогда мои – повести, пьесы, никак не меньше, и это не самомнение, просто сплю я больше, чуть не сутки, а что еще делать, если и прогулку ждешь уже не так, как раньше, особо не побегаешь, ревматизм проклятый. Сны – моя радость, мое спасение. Я сплю, значит существую.

Нынче приснилась моя первая поездка за город. Ехали долго, часа четыре, а я даже и не вздремнул, все в окно глядел: подумать только, после нашего двора, квартиры хозяина, заваленной книгами – какой простор!

Мы приехали на дачу на берегу реки, и прямо в лесу я выпрыгнул из машины, потянул носом и ошалел от запахов. Да, да, так пахло от тех мужиков, что присматривали меня, не судьба видно мне охотиться, а ничем не выбьешь тот запах, то воспоминание; так просидел я несколько минут, не мог надышаться и никогда больше в своей долгой собачьей жизни не дышал я таким воздухом.

И потекли эти дни, полные чудес и радости. Вот ты продираешься через лебеду, как через чащу или джунгли, от тебя спрятался хозяин и спрятался нарочно далеко, думает, что хитрит со мной и я, малец, не найду его. На самом деле хитрю я, на всякий случай лишний раз показывая свое охотничье усердие, якобы растерянно озираюсь по сторонам, принохиваюсь и лаю, может, не устоит хозяин и обзаведется лепажевыми стволами. О чем я?! хоть бы мелкашку! но нет, слаба надежда. Проблуждаю сколько положено, выбегаю из зарослей, забыв про свои хитрости, несусь к нему, что есть мочи, по инерции съезжаю с обрыва в речку и еще успеваю подумать, что никогда не плывал и выплыву ли, но выплыл и поплыл классически "по-собачьи".

– Что, Артоня, – смеется хозяин, – боевое крещение?

Потом ты подремываешь у костра, нос втягивает сладкие ароматы ухи, но мечтаешь о мясной косточке. Вот тебе, пожалуйста, и косточка! Хозяин дачи приносит, и все, что хочется, сбывается так, как это и положено в детстве.

Но недаром говорят, что много радостей не к добру. Полеживаю у костра, блаженствую, переваливаюсь на другой бок и вдруг вскакиваю от боли, катаюсь по земле, опять сваливаюсь в речку... Не так все-таки больно, как обидно – за что? Пчела.

Охо-хо, мне бы твои, молодежь, обиды и несчастья...

Тут я проснулся, выскочил из закута, пребольно ушибся, налетев на велосипед, но успел все же своим чуть брезжащим зрением ухватить, как понимающе переглянулись хозяин с хозяйкой: "Все, Артоня ослеп". Я вздохнул, подмастил под себя подстилку поудобнее и опять погрузился в воспоминания.

.....

Арто. Привет, Графуля!

Граф. Здорово, Артоня! К тебе можно?

Арто. Сегодня можно. Мои в гости ушли.

Сколько воды утекло, пота пролито, пока вот так-то запросто стали мы перезваниваться! К примеру, номер как набирать? Попробовал когтем, срывается, чуть аппарат не уронил. Месяца два бился, пока не придумал – носом.

Граф – мой закадычный друг. Мы живем в одном доме, но сошлись далеко не сразу, я его побаивался, уж больно страшен на вид, прямо баскервильская собака. А он мне потом, простая душа, – какая, мол, баскервильская, я боксер. Дал ему почитать, целый вечер проговорили. А вообще, в деле он – что надо. Как-то шли мы с хозяином по набережной, его хозяйка с лодки рыбачила, а Граф на берегу подремывал. Вдруг слышу крик: "Граф, ко мне!" И вижу, пьяные обормоты подъехали на лодке к хозяйкиной, раскачивают ее и матом, скоты, матом. А Граф уже к ним подплывает. У них глаза на лоб, визжат, как поросята, а он за ними, за каждым по отдельности, но не трогает, не кусает. Добрались они до берега и деру, на всю жизнь запомнят. Я с поводка сорвался, на помощь спешу, а Графуля мне: "Порядок, Артоня, полный порядок".

Сколько же говорено было, всего и не упомнишь. Но об охоте больше всего. Эх, Графуля, это ведь надо, в какое время мы с тобой живем! Спаниель, чистокровный спаниель – домашняя собака, вроде шпица! "Ваш шпиц – прелестный шпиц". Мы – лишние псы, до революции, где это видано было, чтоб спаниель не работал. Недавно захотелось перечитать сцену охоты, там борзые, легавые – вот это работа! Помню, еще спросил тебя, читал ли, а ты: "Больно уж толстая книга-то..." Я был шокирован, сам, говорю, ты толстый, а потом осекся: мне хорошо, любую книгу бери, а его охломон не просыхает, и книг-то у него раз-два и обчелся, ни Пушкина, ни Толстого, все про милицию, да и не в книгах дело.

Вот говорят: собачья преданность. И всегда только хозяину преданность. А другу-собаке? Абсолютно уверен – она ничуть не меньше. Когда тот дог меня драл, сколько в парке собак было! И Амур, немецкая овчарка, и колли, забыл кличку, бывало только в парке появишься, сразу разговоры о высоких материях, о литературе ("Собачье сердце", "Собачье сердце"!), а как до дела дошло, все и отвернулись. Потом оправдывались, выставка мол, скоро, еще погрызет. А Граф того дога до самого дома гнал, чуть не загрыз, потом целый час мне раны зализывал: "Порядок, Артоня, как же иначе?"

Да, Толстой... Намедни в парке девица в брючках ведет на поводке борзую. Представляешь, Граф, борзую! Собака – блеск и из наших, как мы с тобой... понимаешь? Хозяин с девицей – ля-ля-ля, та щебечет: "Ваш пес работает?" Хозяин:

”Нет, он туняедец”. Это он так острит. Я к борзой: ”Что ж ты, так ни разу и не охотилась?” Та в слезы. Что ж о нас с тобой говорить.

Я провожаю Графа до лифта.

Арто Тише, тише иди, чего ты так сопишь?

Граф Это одышка, Артона. Мой алкоголик на днях знаешь, что удумал? Поехали мы на рыбалку, в поле меня из машины высадил и газу. Гонки за машиной. Похоже, я мотор свой подпортил.

Бедняга Граф, наверное от того он и сгинул. Инфаркт. Похоронили его у самого берега, под старым тополем. Я тайком сбегал туда, повыл над могилкой...

.....

А иногда и тяжело от воспоминаний, отпустили бы, так хочется просто поспать, без снов, но нет, только глаза закроешь, опять накатывает.

...думаете легко притворяться таким, как все? Мое ухо прокушено в двух местах насквозь. Сострил как-то насчет булгаковского Шарика, а ту дворнягу и вправду звали Шариком, вцепился он мне в ухо, как капкан щелкнул. Поди думает, ах ты, гад, холеный да гладкий, ты в тепле, у тебя хозяин, а я третий день не жравши, шел бы себе и шел, так нет, еще мозги высокими материями пудришь. Совсем как у людей. Так работяга костерит ”очкарика”, наверно для этих дворняг я тоже ”очкарик”.

Но главный мой антипод, мой недруг и одновременно – моя боль, это Цыган, что живет по дороге к парку. Когда мимо их дома проходишь, он всегда выскакивает и сопровождает меня, как под конвоем, как охранник, только оружия нет и такая ненависть ко мне, породистому, ”аристократу”, ”белой кости”, что я каждый раз вздрагиваю. Бояться я его не боюсь, однажды драл и изрядно, но морально тяжело. Этот и хозяина продаст. Не дай бог, заполонят все Цыганы да Шарики, конец тогда нашему племени.

.....

Вы думаете, главная прелесть для меня собственно прогулка? Ошибаетесь, главное – рассказы хозяина. Не знаю уж почему, но любит он со мною разговаривать, особенно о собаках. Конечно, не в каждую прогулку, иногда бывает мрачен, выведет на десять минут и все. Но по воскресеньям всегда, а сегодня как раз воскресенье.

Хозяин. Арто, пошли грязь месить. Гулять!

Тут самое важное, что он надевает. Ага, сапоги, значит, в лес. Отлично!

Мы идем по тихой безлюдной улице, медленно под уклон спускающейся к лесу. Хорошо ранним утром в воскресенье, ни машин, ни мотоциклов и такая благодать эта ранняя осень, уже не жарко, а купаться еще можно. Стоп. Внимание. Сейчас начнет.

Хозяин. И какого лешего я тебе все время рассказываю? Если б ты отвечал, тогда другое дело. Что ухо поднял, слушаешь? Ну, слушай.

– Эх, хозяин, если бы ты хоть чуть-чуть понимал по-нашему! И потом, тебя иногда заносит. Начнешь рассуждать про некоторых нынешних писателей, дескать, пишут они по-собачьи, собачьим языком, мне за наш язык знаешь, как обидно?

Хозяин. Ты поди вообразил, что это моя дочка тебя выбрала и взяла? Как бы не так. И не пялся на меня, это я тебя взял, я! В моем детстве все было – собаки, кошки, куры, кролики – вон какая экологическая плотность на один двор!

– Всегда он так. Ввернет словечко, ищи потом по словарям.

Хозяин. ...зачем же дочку хотя бы собаки лишать? Да... У нас было шесть кур и два петуха, почему два до сих пор в толк не возьму. Петухи конкурировали, дрались из-за кур, потеха! А зимой мы всю куриную братию тащили в дом, а в сарае померзли бы. Так эти чертовы петухи всю ночь кукарекали; в двенадцать, в три, в шесть, а мне утром в школу. Но самое смешное, что у каждой курицы была своя кличка, и она точно выражала ее поведение и характер. Что-то я не встречал подобного в литературе. Одну кличку я запомнил – "Басамыка", проверил по Далю, есть такое слово: "Суетный, тщеславный человек". Не знаю, как насчет тщеславия, но суетная это точно: больше всех заполошничала и квохтала.

А коты?.. Это ж целая эпопея. Представляешь, лунная ночь, светло, как днем, на дворе мороз под сорок, слышно, как яблони потрескивают; завтра контрольная по алгебре, а ты запоем читаешь "Человека-невидимку" или Беляева, сладко млея от ужаса. Вдруг в форточку... стук! Это потом я привык, а сперва мороз по коже. Отдергиваю занавески – кот! Одной лапой держится за раму, другой по стеклу стучит, сам ведь придумал, шельма! Скорей, скорей его морозного, пушистого под одеяло, и вот он уже умильно мурчит, приревнившись под моим боком. А еще соседский был котище, сибирский, этот хищник, поверишь ли, утаскивал здоровую взрослую курицу. И как, стервец, ловко обделывал: из-за угла или кустов подкараулит курицу, как леопард лапой по ней хлоп! и с добычей в зубах под крыльцо, попробуй его оттуда вытащи.

Но главное, собаки. Тогда собака не то, что нынче, – лишний рот, мы и кур потому держали, что не выдюжили бы без них в 46-м. Но завели собаку, как тебя для дочки, я ведь тоже хныкал месяца два.

О Джульбарсе я тебе рассказывал? Я его помню смутно. был он бело-рыжей масти, помесь не то сеттера, не то спаниеля с дворнягой, по характеру доверчивый и, как говорили у нас, *шомоняла*, бродяга, все по городу шлялся, ходил за мной в школу, с матушкой на базар, то и дело пропадал. На своей доверчивости и попался. Перед Новым годом пропал, неделю нет, другую, месяц. Матушка потом рассказывала, что его поймал и съел демобилизованный капитан-туберкулезник. Есть такая теория, что собачье сало помогает от туберкулеза. Ничего сюжета, Арто?

– Да уж...

Хозяин. Ирма, Ирмуха, Ирмуля... Не обижайся, дружище, но даже ты в моем сознании не затмил ее. Ох, какая это была собаченция... Представь себе, улыбалась! Сморщит нос, приятель все сравнивал ее нос с кирзовой покрывкой футбольного мяча, как наморщит свою покрывку – улыбка и полная иллюзия, что морщинки побежали от глаз, мистика! Ирмуха умница, а уж аккуратистка, таких я среди собак не встречал. Шерсть, лапы вылизет и всегда дождется, пока хозяйка полы домоет, пока просохнут. А ты с улицы придешь и по всем комнатам. Не так, что ли? Ничего, брат, не поделаешь, факты.

А красавица какая была! Пушистая, шерсть серовато-стального цвета, как у овчарки, в ней наверно и была кровь овчарки, то ли немецкой, то ли кавказской, потому и умница. Ко всем во дворе – кошкам, курам была снисходительной, никогда не гоняла их, не драла. Бывало разляжется на солнышке, а куры в рядок усаживались на нее и сидели так час, два, грелись что ли? А она не шелохнется. Вот тогда бы сфотографировать да в журнал послать – идиллия! Вдруг в калитку застучат. Куры в разные стороны, которые и через забор, гвалт страшный, матушка выбегает на крыльцо, что у вас тут случилось?

И еще мне нравилось, что зря она никогда не лаяла, не то, что Джульбарс-пустобрех. Марку свою держала. Попробуй, погладь ее незнакомый, не укусит, нет, просто отойдет в сторону – не нужны мне твои нежности. Все бы хорошо, одно плохо. Кобели.

– Фу! Не мог подобрать другого слова, есть же масса синонимов.

Хозяин. Как осень, так сущий ад. Весь двор перерыт, под воротами лазы, к нам в гости ходить боялись. Забор у нас был

высотой метра в два, так я сам видел, как собаки через него перемахивали. Мастерский норматив.

– А вот это ты напрасно, хозяин, нечего иронизировать, тут и полсмеха нет. Постой, постой... как ее звали, Ирма?.. Ирма?! Боже мой, сколько лет! Ее ведь тоже звали Ирмой!

...не успели мы тогда из дома выйти, а я уже учуял, все понял, сорвался с поводка. Смотрю собаки кругом, кого там только нет – и овчарки, и доберман, и курцхарище огромный, как теленок. Я как в прорубь головой, ринулся в этот круг, они от неожиданности аж присели, никто и не гавкнул. Гляжу, в середине сидит Она, белая пуделиха, мордочка смышленная, причесанная, шерстинка к шерстинке, красавица – с ума сойти! А вокруг нее этот Цыган увивается, ухмылка, ухмылка сальная. "Бежим! – кричу ей во всю глотку, – к реке!" И мы рванули. За спиной вой, лай, топот, никогда я так быстро не бегал – задние ноги впереди передних. Но вот топот постепенно стихает и обрывается чьим-то обиженным тявком. Ушли.

...мы плывем на другой берег по малиновой от заката реке навстречу уходящему за лес солнцу, хохочем до упаду, ныряем, чуть не захлебнулись, я острою в своей привычной манере, распевая какую-то слегка скабрезную частушку, но она не кажется такой, скорее милой и остроумной – ах, юность!

Ирма. Ты куда меня ведешь, такую молодую?

Арто. На ту сторону реки, иди, не разговаривай!

Вернулся на полусогнутых через два дня. В "Рассвете" на витринное стекло наклеено объявление – почерк хозяйина! "Пропал спаниель по кличке Арто..." – строчки прыгают в глазах – "...позвонить по телефону... за прилич. вознаграждение..." Ну, думаю, влетит мне. Скребусь в дверь, она распадается и... "Артона, милый, пришел!!!" Ради таких минут стоит жить.

.....

Что это я разволновался сегодня, а мне вредно, и суставы разламывает, наверно к непогоде. Сейчас бы почитать, да буквы прыгают, ничего не разберешь. В моем положении лучше всего бы в приют для таких, как я, да где они у нас, эти приюты? У нас их нет, а если и откроют, то по нынешним временам наверняка переведут на хозрасчет. Приют на хозрасчете...

Тише, тише, Арто, хозяин с хозяйкой разговаривают, видно, крупный разговор. И обо мне. Не все разобрал, но и так понятно.

– Но что же делать, что делать? (плачет). Ведь Димка,

же, Димка!¹ Он и в рот к нему лезет, и в плоску, а ты посмотри на Арто, это просто опасно.

Хозяин долго молчит.

– Только без меня. Завтра уйду на целый день.

...значит, завтра: Да, Димка, он же не понимает. Ради него я готов. Завтра...

(Арто ложится у телевизора, сквозь пелену с трудом улавливает, что идет передача "Спокойной ночи, малыши": "завтра будет день опять".)

– Не будет. Блеснет стальная игла, и это не прививка. Да нет, не страшно. Я уже видел ее, косую..."

.....

Арто, вероятно, вспомнил, как еще щенком, выбежал на осенний лед, и он сразу же подломился под ним аккуратной лункой, ухнул в нее, и его потянуло в холодную и темную глубину. Я едва успел схватить его за ухо и вытащить к свету. И он увидел в моих глазах отражение своих.

P.S. На моем письменном столе под стеклом большая фотография Арто. На ней надпись: "Прости нас".

1990.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ ИЛЬЕ ГАБАЕ

Я не принадлежал к числу самых близких его друзей, но в 1957–1961 годах, живя вместе в общежитии МГПИ на Усачевке, мы встречались практически ежедневно.

Однажды осенью 1957 года Юлий Ким (он тоже "уса-чевский") говорит мне: "Тут появился один малый, фамилию не запомнил, то ли Гобой, то ли Габай, написал поэму и читает ее, пойдем послушаем?" Поэму, она называлась "Коммунист", не помню совсем, наверно это была гневная инвектива в адрес переродившихся коммунистов, которые противопоставлялись чистым большевикам революции и гражданской войны – торопливый отклик на решения XX съезда. Впечатление же свое помню достаточно отчетливо: ходульные, блеклые образы, хромающий на обе ноги стих. У нас, только что "переваривших" Мартынова и Слуцкого, помешанных на рифмах Маяковского и Пастернака, знакомых с первыми сборниками Андрея Вознесенского, все это могло вызвать разве что иронию, в лучшем случае – сочувственную.

¹Это внучек. Ему четыре года. – Примеч. Арто.

Но странное дело. Смеяться и даже посмеиваться не хотелось, остроты так и застревали на языке. Почему бы это? Ведь совсем недавно в пух и прах была разнесена поэма о любви нашего соседа по общежитию Ч.Г. В этой "трагической" поэме, откровенно эпигонской, бушевал "пожар сердца" по Маяковскому, а скорее по Роберту Рождественскому. Тут уж мы всласть поплясали на костях, ни секунды не задумываясь, как это могло больно ранить бедного автора.

Здесь же какая-то другая, нестандартная ситуация. Дело было не в стихах. В самом Илье. Вроде и обычный малый, такой, как все, свой в доску, но взгляд... Взгляд из под толстых линз очков или поверх их, когда очки спадали на нос. Была в нем наверно и естественная самоуверенность молодости, но больше всего – щемящая душу трогательная беззащитность. Она и удерживала иронию.

Конечно, по другому поводу мы над ним постоянно подтрунивали и посмеивались, над теми же очками, которые вечно забывались, терялись и разбивались. Он бывал забавно (а для кого и мучительно) рассеян, поневоле придешь в отчаяние. Среди нас – самый ярый курильщик, и плащи, костюмы, рубашки прожигались им постоянно.

– Ильюша, – незабвенная, добрейшая Белла Исааковна Шлифштейн, принявшая его в свой дом как сына, всплескивает руками, – Ильюша, но ты же мог обжечься!

Ильюша, засыпая, механически заложил меж страниц тома Золя из собрания сочинений тлевшую сигарету.

Но больше всего хохочу, вспоминая, как они с Аликом Рабиновичем, в этом смысле на него похожим, тушили ночью пожар в комнате общежития. Окурки бросались в полное бумаг ведро и однажды оно вспыхнуло. Спросонья бросились тушить огонь первым попавшимся под руку, чем бы вы думали? Висевшим на стульях белыми нейлоновыми рубашками.

Не могу удержаться от маленького воспоминания об Алике Рабиновиче. Первого апреля я не поленился, сходил рано утром на почту и вернулся с бланком перевода, заполненным на его фамилию. Проснувшись, он обнаружил его подсунутым под ручку двери. "Ребята, живем", – возликовал Алик и со всех ног кинулся на почту, отстоял длинную очередь и вернулся совершенно убитым. Но тут же просветлел, увидев на столе бутылку портвейна "777", которую я припас загодя, еще со вчерашнего вечера.

Господи, чего только не вытворяли мы в общежитии! То взрывались ночью с садистской периодичностью, сначала в три, потом, когда все успокоится и уснут крепким предупреденным сном, – в семь, спрятанные под кроватями, туго завинченные стеклянные банки из-под фотореактивов с

разведенными дрожжами, эти же дрожжи бросались в ведро и из него выползло как бы миниатюрное грибовидное атомное облако; то со стены срывались огнетушитель или – верх гусарства! – из окна третьего этажа вылетала тумбочка со всем содержимым, слава богу, в безлюдный сквер.

И это лишь малая толика творимого нами. Но не было в том безудержанном озорстве, желаний выйти из берегов, ни натуги, ни притворства, это скорее едва ли осознаваемая нами тогда попытка гусарства, иногда нелепая по форме, но чем-то родственная по духу далеким временам.

Милое время! Отзвуки будущих гроз проносились, конечно, в наших душах, – то в том, как быстро, на глазах, "меняли кожу" некоторые наши преподаватели – Дроздовы вдруг становились Лопаткиными или подлаживались к ним; то в хрущевском непотребстве на встречах с интеллигенцией – и о Хрущеве все больше думалось без прежнего доброжелательства, с горькой аналитичностью; то доносились глухие слухи о жутких сроках Ренделю и Краснопевцеву, – но мы оставались оптимистами и жили надеждами.

Разумеется, в веселье этом было и предощущение разлуки, разъединения, а то и распада нашей компании ("один в никуда, а другие в князья"), со многими так и произошло. Тем выше, безудержнее звучала эта гусарская нота, желание остановить мгновенье. И хотелось, и не хотелось вступать в новую самостоятельную жизнь.

А надежда?.. Для иных из нас (для Габая, думаю, в первую очередь) это было желанием проявить себя в некоей деятельности, не работе, не службе в департаменте, а именно деятельности, может быть, преподавательской, либо – творческой, не исключено и подвижнической, политической, хотя это могло рисоваться ему тогда весьма смутно и неопределенно.

.....

В нем жил какой-то бес балагурства, поддразнивания, пародирования, его шуточки всегда бывали к месту, но никогда не злы, тем более жестоки. Это сыпалось как из рога изобилия, всем сестрам по серьгам. Юлию Киму, окинув взглядом роскошный стол Беллы Исаковны и заметив фаршированную рыбу, говорилось: "...бродит рыба-фиш", Юрию Ковалю, голос которого перекрыть вообще было невозможно, а в этой песне ("...перепродал свои кальсоны спекулянт") – особенно, тихонько, но все услышали, бросалось: "свои канцоны"; Р.Р., розовощекой красавице, но невероятной болтушке, чтоб остановить ее: "Тебе еще никто не говорил, что

ты вся как цветок лазоревый?" (шолоховский Мишка Кошевой Дуняшке). Все понятно грохнули, Р.Р. осеклась, а потом и в слезы. Надо было видеть, как Илья чуть не на коленях вымаливал у нее прощение, но долго обижаться на него не мог никто, минуту спустя девица уже смеялась, размазывая слезы по щекам, и сцена завершалась идиллическим поглаживанием его проволоочно-жесткого чуба.

Но и шутку товарища он умел оценить так, как никто другой. Однажды в нашей главной 9-й аудитории шел концерт туристской песни. Леша М., когда пелось: "Пять ребят о любви поют чуть охрипшими голосами", вдруг громко произнес: "от любви поют!" Сентиментально млевшие девицы возмущенно обернулись к нему и в тот же миг на весь огромный зал раздался гомерический хохот Ильи.

Его розыгрыши бывали и другого свойства. Только что вышел роман Вс. Кочетова "Братья Ершовы". Мы всласть над ним потешались, разнесли по ироническим цитатам. В нем у одного из братьев, Дмитрия Ершова, был багровый шрам через все лицо. И вот у нас возникла идея от имени этого персонажа позвонить автору. Не поленились, разыскали его телефон. С ним разговаривал Илья, мы вокруг затаили дыхание. Он сказал примерно следующее: "С Вами говорит Дмитрий Ершов. За что Вы меня так обидели, наградили шрамом, люди шарахаются, девушки не любят". Илья рассказывал, что классик соц. реализма разразился отборным матом.

.....

Бывал он и мрачен, мог проваляться в постели день, два, уставясь в книгу, а то и в потолок, и никто не мог развеять эту меланхолию, разве что любимая девушка, но успешнее всего Юлий Ким, которого он всегда любил трепетно и нежно. Вот где-то вдалеке, у вахты, а может еще и на улице звучало: "... живым с поля брани уйти-и...", потом песня шла по коридору, лихой перестук по гитарному корпусу у самой двери, и Илья радостно вскакивал с кровати.

.....

К какой-либо вкусной еде он был совершенно равнодушен. Есть – хорошо, а нет – шут с ней! К деньгам – тоже. Стипендия разлеталась в первые же дни, половина на уплату долгов, другая раздавалась в долг – он никогда никому не отказывал, иногда и забывал, кто ему должен. Как-то отдаю ему одолженные в прошлом месяце деньги, а он меня отчитывает: "Ты что, офонарел? Ты ж мне на той неделе отдал". Пришлось незаметно вложить бумажку в книгу,

которую он читал. Наутро прибегает: "Эврика! Мистика! Читаю книгу, а в ней четвертной!"

Меж тем, бывало он и поголаживал. Однажды вчетвером с мелочью в кармане зашли в столовую на Б.Пироговской. Тогда только что ввели новшество: хлеб лежал на столах, бери сколько хочешь. Взявши десятка два стаканов чая, подчистую уписали весь белый хлеб в одном зале столовой. Сам же постоянно спрашивал: "А ты сегодня обедал?"

Но накормить его было делом непростым, тут требовалась сверхделикатность, чуть пережмешь – и обида в печальных глазах его, не поймешь, то ли просто обиделся, то ли за тебя ему обидно. Не дай Бог перехватит сочувственный, сострадательный взгляд, мог и не притронуться к еде ("ой, что вы, сегодня я уже объелся") к огорчению расстаравшейся хозяйки, наготовившей для него уйму вкуснот.

Мое высшее достижение в этом смысле: однажды удалось заташить его в ресторан "Баку". Был тогда в Москве такой ресторан, такая прелестная харчевня-обжираловка, доступная и студенту; там можно было отведать и лобио, и шашлык, и плов. Ресторан и ныне там, но для "избранных".

– Илья, хочешь отменно пожрать?

– Ка-не-сна, – умильно сложив губы бантиком, он пародировал то ли японца, то ли корейца, – ка-не-сна-зе. О-сень хо-цю па-ку-сать".

– Тогда айда в "Баку"! Харчевня что надо.

– В "Баку"?.. – Пауза. – "Баку"? В "Баку" пойдем.

Может быть, название ресторана напомнило ему о родном городе?

Мы и правда наелись там доотвала, посадили по стипендии, всласть подурачились, изображая солидных клиентов. Официанта подзывали (правда вполголоса): "Чаа-..эк!"

Тогда и состоялся наш первый и по-существу единственный долгий разговор о его стихах тех лет. Мое впечатление от них было несколько странным, неопределенным, я не знал, как приступить к разговору и боялся его. Попытки отшутиться ("о стихах уж не говорю, половина войдет в пословицу"), успеха не имели. К своим и чужим стихам он относился с глубокой серьезностью. Мне показалось, что он ждал этого разговора, ему было интересно мое мнение.

На мой тогдашний взгляд его стихи были как-то неотлажены, неотработаны, "негладки": мысль то обгоняла мастерство, то едва поспевала за ним. И вдруг за этим ворохом, завалом словесных камней открывалась и сияла такая ясная и чистая красота, что невольно вздрагиваешь. Разумеется, "Юдифь" и тогда воспринималась мною как произведение подлинно гармоничное и бесспорный шедевр.

Сейчас все читается по-другому, да и написано с тех пор немало – и стихов, и писем. Письма Ильи... Это явление поразительное и поучительное, не восходят ли они генетически к эпистолярному искусству XIX века?

Жизнь не оставила ему времени для отделки стихов. Доживи он до первой своей книги, был бы сам неумолимо суровым ее редактором.

А тогда... Тогда, к стыду моему, я пустился в ученые литературоведческие разговоры, сыпал из Жирмунского, Томашевского и Штокмара, указывал на удачные и не удачные аллитерации, бубнил что-то об интонации. Я был аспирантом первого года, занимался ранним Асеевым, стиховедением и, можно сказать, купался во всем этом. И ведь чуял же вроде, что не попадаю в тон, не того разговора он ждал, – а о времени, душе его, стихами выраженной; слушал все рассеяннее, уже и стрельнул ироническим взглядом, а я все говорил и говорил, и мне казалось, что умно и ему полезно послушать – вдруг поможет "отшлифовать" форму?

А он склонял и склонял голову, сначала на руки, лежавшие на столе, потом и на стол, – не перебрал ли? промелькнуло в уме, – но и это не остановило моего красноречия.

И вдруг слышу его голос, глухой и тихий: "Димыч, о стихах больше не надо". И повернулся, и ожег меня воспаленно-усталым взглядом. Мы выпили по стопочке, и уже не хотелось больше кричать: "Чаа..эк!" И молча побрели пешком на Усачевку.

Тепло отношений сохранилось, но больше о его стихах мы никогда не говорили. Как стыдно и горько мне за то мое литературное красноречие!

Знать бы тогда, как воспринял его стихи Давид Самойлов! "Как-то Давид Самойлов прочел его стихи и сказал приблизительно следующее: стихи неважные, это и не стихи даже в общепринятом смысле, мне они не нравятся – но в них ясно виден праведник. Да именно: вот такой, нескладный, женолоб, трубокур и выпить не дурак – и праведник действительно" (из письма Юлия Кима Владимиру Гершовичу).

Дальше судьба развела, разнесла нас, я уехал преподавать на Сахалин, переписка как-то не сложилась, а вскоре и мне выпали драматические испытания.

О трагическом периоде жизни Ильи я писать не в праве, об этом пишут и еще напишут другие. В моей же памяти он остался больше всего таким, каким я попытался в меру сил своих описать в этих заметках. Добрейшим малым, своим в доску и странником, шедшим по морю житейскому, как по суху.

"Октябрь уж наступил..." Для меня это время особое. Осенью погиб под Сталинградом отец, осенью же не стало матушки, в октябре родились старший брат и нянюшка моя, милая тетя Фрося, а шестнадцатого дня и я сам.

И еще две даты – до конца дней моих – девятого и двадцатого октября.

Илья Габай.

Небольшой постскрипtum. Изредка приезжала в Москву из своей тамбовской провинции, я с первых же дней тороплюсь выполнить "культурную программу". Вот и в этот приезд тут же побежал в "Ударник" на фестиваль Лукино Висконти, посмотрел два фильма – "Туманные звезды Большой Медведицы" и "Гибель богов", сделанные рукою бесспорно великого мастера, но, кажется, не оставляющие человеку и самой маленькой надежды на любовь и счастье. И тяжело стало на душе. Как развеять этот, как говорил Пушкин, "незапный мрак"? "Откупори шампанского бутылку иль перечти "Женитьбу Фигаро"... Ну, насчет шампанского, в наши-то дни попробуй его "откупори..." А второй совет, что же, вполне реален, осуществим, клин надо вышибать клином, и на следующий день отправился в тот же "Ударник" посмотреть любимого мною в молодости Ива Монтана в фильме "Сезар и Розали", у нас его показывали впервые. Фильм наверно средний, но Монтан в нем традиционно обаятелен, трогателен и необыкновенно смешон.

В приподнятом настроении я быстро шел по улице Фрунзе к Арбату и не заметил даже, как оказался у памятника Гоголю работы Томского, чуть не уткнулся в него. Это уже не впервой, так бывало и в прежние приезды. Как и раньше, мне захотелось поскорее отойти, отбежать от этого чудища, лицу которого скульптор умудрился придать выражение вроде такого: "Верной дорогой идете, товарищи", а на постаменте высечено уникально-позорное: "Н.В.Гоголю от Правительства Союза ССР". И пройти в скверик неподалеку, и постоять у трагического сидящего андреевского Гоголя...

Я уже и направился туда, как вдруг вижу мимо памятника спешит молодая пара, он и она, симпатичные ребята, хорошие, открытые лица. Он притормозил немного, бегло окинул памятник взглядом, потом потянул свою подругу за руку, надо полагать, они спешили к ресторану "Макдональдс".

– Ребята, – остановил я их, – а вы читали, что написано на памятнике?

– Как что? – Они посмотрели на меня с некоторым недоумением, – "Гоголю от Советского правительства".

– А как вы думаете, есть ли еще где-нибудь на земном шаре такая глупая надпись на памятнике?

Они вытаращили на меня глаза, потом переглянулись и вдруг – как захохочут. И долго еще я слышал его, пока они бежали взявшись за руки к своему "Макдональдсу". И помнилось мне, что в хохоте этом было... ну, хоть чуточку, хоть самая малость – от хохота ильюшиного.

Бог помочь вам, друзья мои.

1991 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Юлий Ким. Наш Человек в Тамбове	3
"Минует печальное время..."	6
Могила Чаренца	17
В Магадане у Козина	31
Могучие кучки	38
Голос Александра Галича	41
"Сквозь годы мчась..."	61
Прогулка по Моршанску в осенний день	93
Арто	102
Из воспоминаний об Илье Габае	112

За счет средств автора

Литературно-художественное издание

Дмитрий Александрович Рачков

Минует печальное время

Записки шестидесятника

Редактор В.И.Рубин

Художник М.А.Ким

Художественный редактор Н.А.Сырицына

Технический редактор И.С.Рожкова

Корректоры Е.В.Новикова, Т.Я.Бисерова

Сдано в набор 22.07.91. Подписано в печать 24.12.91. Формат 60х88/16.
Бум. офс. № 2 75 г. Гарнитура Тидэ. Печать офс. Усл. печ. л. 7,35.
Усл. кр.-отт. 7, 60. Уч.-изд.л. 7,06. Тираж 2000 экз. Изд. № 511. Заказ 1631.
Цена 3 р.

Издательство «Книжная палата», 103009 Москва, ул. Неждановой, 8/10.
Отпечатано в Московской типографии № 4 Министерства печати и
массовой информации РФ. 129041, Москва, Б. Переяславская ул., 46.

